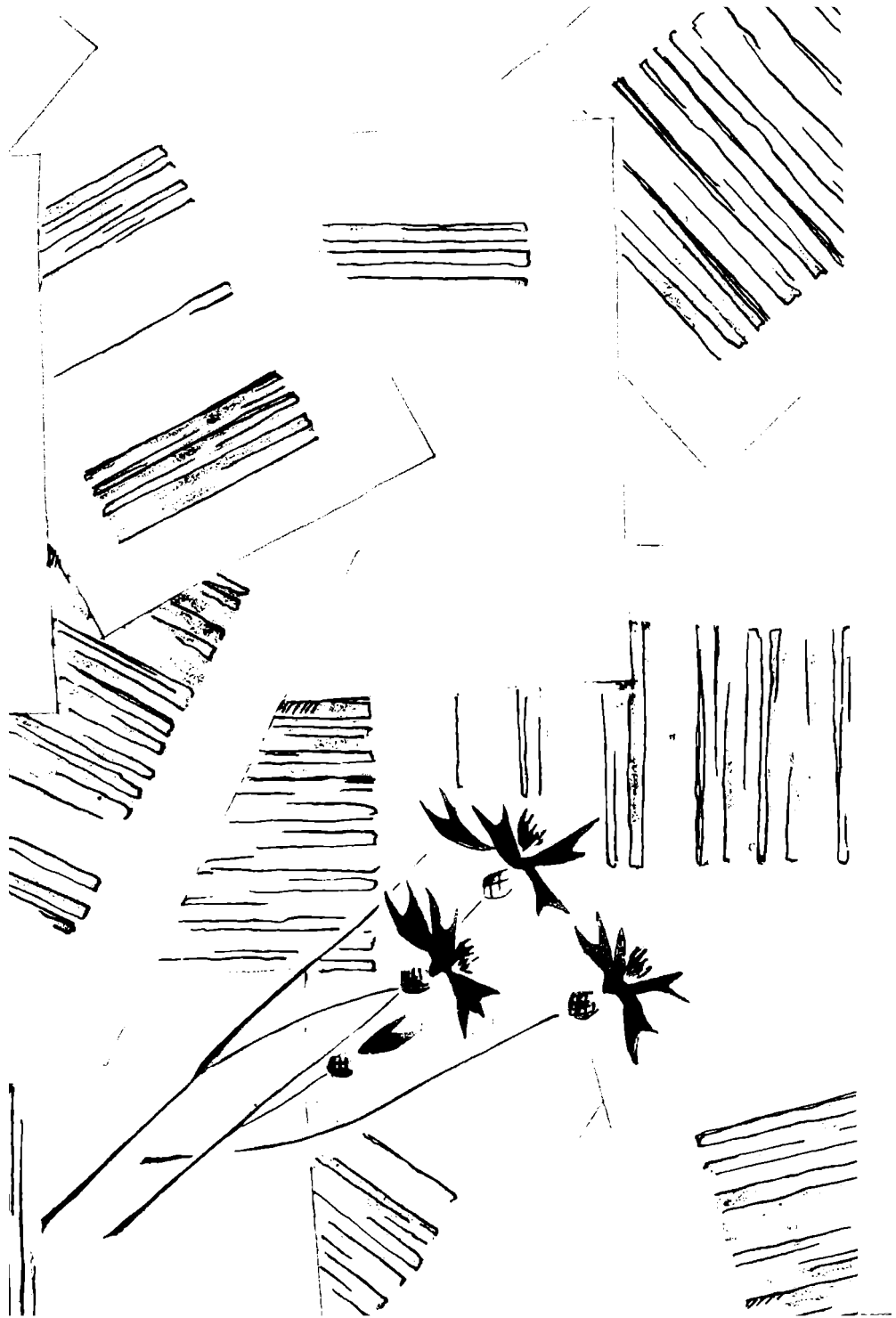




АЛЛА
ГЕРБЕР

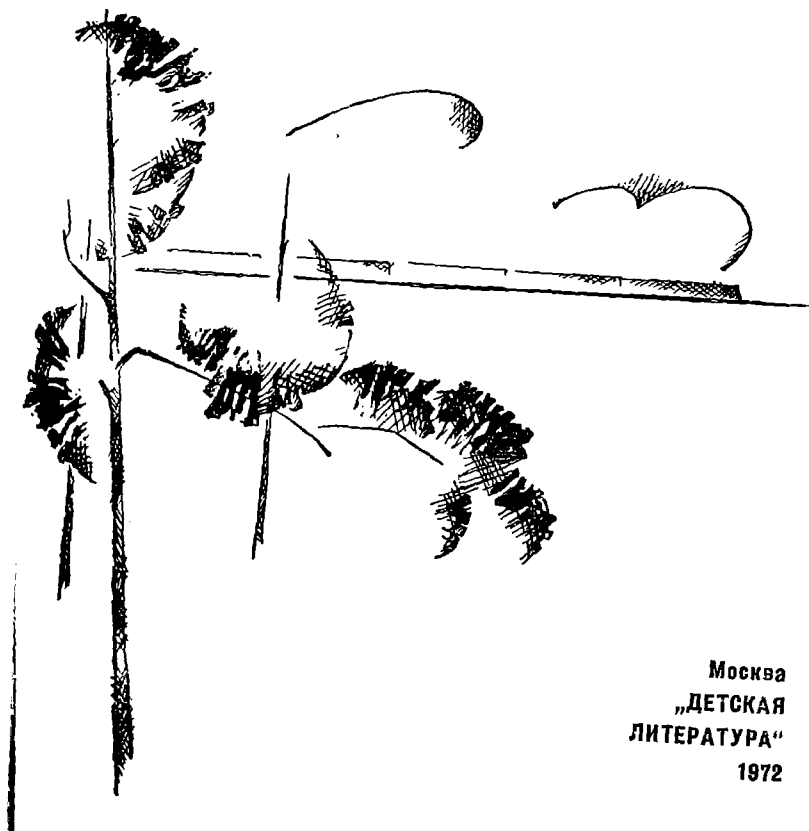
ЕЩЕ
НИЧЕГО
НЕ СЛУЧИЛОСЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА



АЛЛА
ГЕРБЕР

ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ



Москва
„ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА“
1972

О Т А В Т О Р А

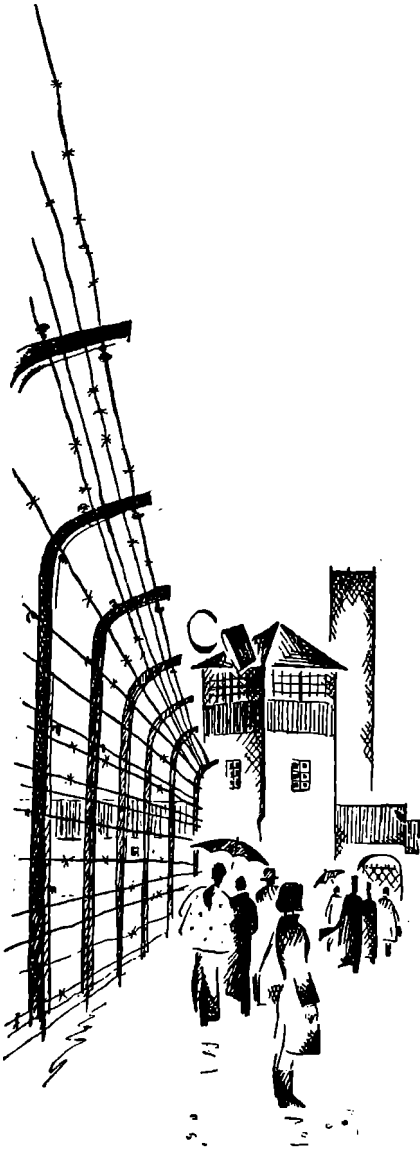
Тема, которую я выбрала для своей книжки, — достоинство. Понятие это моральное, философское. Толкование у него, в общем-то, одно: достоинство — это осознание человеком своего общественного значения, своих ценностей, форма самоуважения, по которой окружающие нас люди определяют и свое к нам отношение. Без самоуважения, основанного на истинных ценностях, человек не полезен ни себе, ни обществу, ибо унижены тогда его представления о самом себе, а значит, и о своем долге перед нашим обществом.

О достоинстве писали и думали лучшие люди всех времен. Биографии многих из них — уже книги о достоинстве. И все-таки я решила отказаться от биографий великих. Их опыт — фактор истории, опыт поколений. Наш с вами — пока лишь капля в море человеческих поисков и ошибок.

Я взялась за перо, чтобы вместе с вами подумать об этой нашей обыкновенной жизни, о том, как определить ее значимость. Вопросы эти сложные. Их, безусловно, не решит моя тонкая книжка.

И все-таки если мне удастся хоть немного приблизить себя и вас не к решению проблемы, а к необходимости над ней задуматься, будем считать, что мы не потратили время напрасно.

Рисунки
Е. Кольцовой



Не знаю, когда она началась, эта книга. Быть может, в тот день, когда туристский автобус вез нас — веселых и беззаботных московских студентов — по гладкому, блестящему на солнце шоссе из города Кракова в город Освенцим. Нас обгоняли машины всех марок и стран. В маленьких кафе нас поили кофе. В древнем замке показали рыцарские доспехи. В промышленном городе Хшанув повели на локомотивный завод. Мы раздавали значки, адреса и улыбки. Мы фотографировались на фоне старинной рагуши, а на веранде кафе отплясывали шейк.

Мы были переполнены

впечатлениями, молодостью и радостью жить. И были очень далеки от тех, кого двадцать лет назад везли, быть может, по этой же дороге, и тот же бор был молчаливым свидетелем их последнего пути.

Сколько писали об Освенциме, сколько рассказывали, сколько фильмов сняли, сколько экскурсантов там побывало... В справочнике указано — тысячи. Тысячи посетителей на могилах четырех миллионов — заживо погребенных, удушенных в газовых камерах, умерщвленных ядом, голодом и огнем. Все описано, все известно. Что мое слово рядом с молчанием земли, поглотившей и слова, и крики, и стоны? Что мой рассказ, когда на воротах лагеря навеки сохранился плакат, приветствующий обреченных обещанием свободы за хороший труд?

Я иду по мокрой глине Бжезинки — главного места жительства заключенных. Сюда не попадали комиссии, журналисты, представители Красного Креста. Сюда попадали только те, кому предстояло умереть.

Здесь нет экспозиций. Вместо памятников — аккуратные «коттеджи» бараков. Вместо надписей — развалины крематориев. Вместо монументов — потухшие трубы над ними.

А в основном лагере — музей. Документы, исторические справки, подробные сводки — где, кто, сколько. Вещественные доказательства — тонны детских игрушек, женских волос, чемоданов, очков...

Толстое, небьющееся стекло оберегает, кажется, не вещи, а нас от этих вещей. От того нечеловеческого, безумного времени, которое так далеко. В другую эпоху, в другой жизни других людей.

В темном бараке — отсеке музея — короткая экспозиция — «история уничтожения народов». На стенах — фотографии. Блестящие, глянцевые, художественно отретушированные. На них нет ужасов. Нет виселиц и «стен расстрелов». На них нет тени живых, а сами живые. Красивые, хорошо одетые, молодые и старые, упитанные дети, беззаботные родители. Они живут в своих домах, спят на своих кроватях, ходят по улицам.

Мирная жизнь...

Но кто-то плачет. Почему? Кого-то выселили из дома. За что? Не пускают на урок. Вытаскивают из кафе. Над кем-то глумливо хохочут. За кем-то следят. На кого-то доносят.

Тихо вокруг, и войны нет, и окопов. И танки не вспахивают землю, и солдаты не орошают ее кровью. И в подвалах хранят картошку, а не людей. Солнечно, уютно, светло...

Я иду вдоль этих мирных фотографий, далеких от блоков, от капо (надзирателей из заключенных), от полосатых халатов и остриженных на промышленные нужды волос... Я иду вдоль этих фотографий и вижу: недоумение в глазах, удивление, вежливое непонимание. Покорность и... надежду. Надежду на то, что все обойдется...

Там, за стеной,— ад созданный человеком, «усовершенствованный» для уничтожения человека...

Там синтез предостережений. Приказ — не забывать. Мольба — отомстить.

А здесь мне говорят: ничего не происходило — не вешали, не убивали, не пытали, не душили в газовых камерах, только... Но это в самом конце, почти у выхода,— маленькая надпись, завершающая экскурсию притихших туристов:

Только унижали человеческое достоинство.

* * *

Может быть, именно тогда впервые задумалась я над этим словом — достоинство.

Нет, я не то чтобы никогда не слышала его — читала, повторяла, помнила, но не было оно моим — повседневным... ну таким же необходимым, как, скажем, совесть, добро, честность. Эти имели свой ясный, житейский смысл. Достоинство казалось понятием праздничным, предназначенным, как нарядное платье, для исключительных случаев. Чуть старомодным, хотя и сохранившим свою привлекательность. После, с годами, я по-

пяла: достоинство — это то, без чего и жить нельзя. Утром, днем, вечером. Достоинство — если хотите, камертон, по которому общество определяет нашу человеческую сущность.

Человек — «инструмент» сложный, добиться идеального звучания очень трудно. Но надо знать, по крайней мере, чем мы обладаем, из какого материала состоим.

Не о химическом составе, естественно, идет речь. Не о соотношении брома, меди и йода. А о тех нравственных, духовных ценностях, которые заложены в каждом человеке всем опытом предыдущих поколений и нашли в нем свое единственное, неповторимое выражение. Осознание этих ценностей и, главное, их полезных возможностей и есть бесконечный путь к утверждению в себе человеческого достоинства.

Бесконечный... А не по случаю, не в момент чрезвычайных обстоятельств, как часто по наивности мы думаем в юности. Когда надо, к примеру, защищать или защищаться. Хотя и это важно, если, конечно, не принимать справедливые упреки за угрозы достоинству. Защиту наших же ценностей — за покушение на них. Однако будем справедливы: и в юности мы, бывает, впадаем в другую крайность. Ты меня ударил — а мне не больно. Ты при мне обидел, но... третий, как известно, всегда лишний. Конечно, никакой рентген не просветит изъянов, нанесенных достоинству. Но если хоть раз разрешить безнаказанно себя оскорбить, унижить, то потом, глядишь, и другим и себе многое что дозволим. Молчание лишь тогда защита достоинства, когда оно не прячется за спиной, а демонстрирует позицию. Молчание лишь тогда обвиняет, когда оно активно игнорирует.

Но бывает, молчание не обвиняет, а, скорее, поощряет покушение на границы достоинства. Тогда-то молчать нельзя, а надо драться. Но не об этом сейчас речь. Не о той чрезвычайной ситуации, которая напрямую угрожает достоинству. Когда бросаются под танк, посылают в себя последнюю пулю, убивают брата, если он враг, убивают себя, если прощают врага. Когда бой, схватка — короче, та высшая акция человеческого духа, когда на карту ставится жизнь...

Тогда все ясно, все понятно: если бы понадобилось, если бы призывали, указали, я бы не спасовал, я бы с честью выдержал любое испытание. Но где гарантия?

Помните, у Фадеева в «Разгроме», когда у двоих была лишь секунда на размышление. Секунда на выбор — или спастись подлецом, или умереть человеком. Они приняли разное решение, потому что за этой секундой стояла вся их жизнь. Сработало годами накапливаемое достоинство у одного и полное его отсутствие — у другого. Проверки могло и не быть. Но пришел момент, пришла необходимость выбора, и сработал весь их образ жизни, мимолетные компромиссы, убежденность одного и облегченность мысли другого. Но когда в школе мы писали сочинение на свободную тему: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой» (подчеркивая при этом слово «бой»), то меньше всего думали, что за вспышкой подвига стоят длинные будни, в которых человек каждодневно утверждает или отрицает свое право и на жизнь, и на свободу.

* * *

Война застала мое поколение за партами начальной школы. Мы решали задачи о путниках, которые двигались навстречу друг другу, а под Москвой шли на встречу со смертью ополченцы — наши братья и отцы.

Мы учили: «И грянул бой — Полтавский бой» — и еще до конца не представляли себе, какой бой грянул в наше время, на нашей земле. Война была в нас, потому что у каждого кто-то ушел на фронт, но она была и вне нас, потому что в семь лет очень трудно отказаться от добрых сказок братьев Гримм и волшебников Изумрудного города.

Было детство — трудное, голодное, но все равно детство, от которого никаким войнам не оторвать его неизменных оловянных солдатиков, кукольных дочек и матерей, мячиков и скакалок. Так мы и жили — плакали не только потому, что

плакали взрослые, смеялись потому, что детство не выносит долгих слез.

Потом, когда война кончилась и мы вернулись домой, детство потекло по своим обычным притокам и протокам, которые быстро и незаметно впадают в юность. У нас не было красивых платьев, и несбыточной мечтой казались лакированные туфли. Но должна сказать, что мы довольно легко мирились с их отсутствием. Если нас что и раздражало, так это, как казалось, чересчур нормальная жизнь, расписанная по урокам, школьным диспутам и музейным экскурсиям. Если чего не хватало, то как раз не платьев, а кожаной куртки комиссара, не новой шляпы, а красной косынки комсомолки двадцатых годов.

Не стану говорить о всех, но свой девятый «Б» и свою школу помню хорошо. В шестнадцать лет мы были твердо убеждены, что нам крупно не повезло. Что мы слишком поздно (или рано) родились и неизвестно, чем (и когда) сможем поразить мир. Вот хорошо было нашим дедам — они совершали революцию. И нашим отцам — они спасали отечество. А что прикажете делать нам?

Взрослые говорили: «Ваше дело — учиться». А мы: «Ну какое же это дело...»

Внушали: «Вы — будущее страны». А мы уныло: «Будущее-то мы будущее, но как найти себя в настоящем?»

Помню первый юношеский клуб «Факел», который открылся в нашем районе по призыву «группы энтузиастов».

Пришла ко мне девушка, строгая и деловая. Посмотрела принципиально в глаза и спросила:

- Как ты относишься к романтике двадцатых годов?
- Положительно, — говорю, — отношусь.
- Согласна возродить?
- Согласна, — отвечаю. — А как?

Этого никто не знал — ни группа энтузиастов, ни те сотни изголодавшихся по романтике ребят, которые хлынули в широко открытые двери клуба, временно предоставленного для приложения нашей недоиспользованной энергии. «Возрожде-

ние» кончилось печально — клуб закрыли по причине проникновения в него «стиляг». Лидеры сникли, а сотни жаждущих разбрелись по дворам теперь уже в поисках не романтики, а хоть каких-нибудь развлечений. Тогда-то и появились сначала в Москве, а потом и в других городах молодежные кафе на базе общественных столовых, всевозможные клубы мечтателей в подвалах жилищных контор. Это было прекрасное время — оно пришло и быстро (согласно возрасту) ушло, оставив после себя непривычный вкус кофе и бесконечных разговоров о том, что делать, чтобы поменьше говорить, и что говорить, чтобы побольше делать.

«...Романтика, фантастика, наверно, в этом виноваты...» Привыкнув к палаткам, наработав мозоли на целине и напридумав туристских песен, поколение мое несколько успокоилось, а точнее, состарилось, прошла тоска по романтике. Нужно было работать, заняться домом, семьей — всем тем, что положено природой и возрастом.

Мальчики и девочки — милые мои ровесники... Повзрослев, растолстев, потеряв вкус (увы, преждевременно) к танцам и песням, многие из нас так и не смирились с тем, что судьба обделила их «героической» юностью. Не дала уйти на фронт в восемнадцать. И победить врага — в восемнадцать. И отомстить — в восемнадцать. И провозгласить свои принципы, и сказать свое слово, и объявить свой приговор.

Я имею в виду тех, кто ждал призыва горна и боя барабанов. Кто нуждался в необычном для преодоления собственной обыкновенности. Кому требовался конь, чтобы почувствовать стремительный бег времени.

«Не бойтесь в великом увидеть себя», — сказал философ. Мы боялись. Наверно, легче проявить себя в чрезвычайных обстоятельствах, чем взять власть над повседневностью. Понять, что великое — построение нового общества — это и есть мы сами, и каждый ответствен, каждый — его властелин.

Можно вырвать сердце, чтобы осветить людям путь, а можно ничего не вырывать и все-таки «светить до дней последних

донца». Можно спасти утопающего, а можно — первоклассного пловца, который не понимает, что тонет.

Но *когда* это «можно»?

Кто это может? Где та сила, способная на обыкновенные чудеса?..

Как будто «просто» — «протянуть руку и спасти...». Но просто ли? Когда тебя не просят, не посылают на спасение. А вот такой у тебя обостренный слух, такое всевидящее зрение, что тебя не нужно обязывать. Вся твоя жизнь — обязательство. Твое могущество — главное условие его выполнения.

...Они были просто мальчишками — с Малой Бронной, с Моховой, с Покровки и Чистых прудов — все эти Вити, Сережки, Леньки, которые только тем и были знамениты, что кепчонку натянули, как корону, и пошли... на войну. Но в той мирной жизни они ведь тоже были королями, всемогущими королями из гулких московских дворов.

Почему? Что они такого сделали? Какие подвиги совершили, какими делами прославились? Никакими. Просто они не считали, наверно, что для величия нужны исключительные обстоятельства, исторический момент. Не думали, что тот час — их час, когда, как поется в старой арии: «...я умираю...». Не ждали мгновения, которое прекрасно, а жили, чтобы это мгновение наступило.

Как, оказывается, все «просто» — «кепчонку, как корону». А мы-то думали, наоборот: корону, как кепчонку, ибо один, как все, а все, как один.

Бывает, в юности мы долго ищем себя — и это хорошо: что-то возрождаем, что-то, кажется, безвозвратно теряем, грустим о великом прошлом или будущем... Об одном иногда забываем, что величие-то в нас самих.

Мирное время, мирная жизнь... Не стреляют, не бомбят, не объявляют о чрезвычайном положении. Ты с детства застрахован от нищеты, от бездомности, от невежества — только учишься, от безработицы — только не ленишься. От одного никто не застрахован: от мирных трудностей, от будничных испытаний. Они

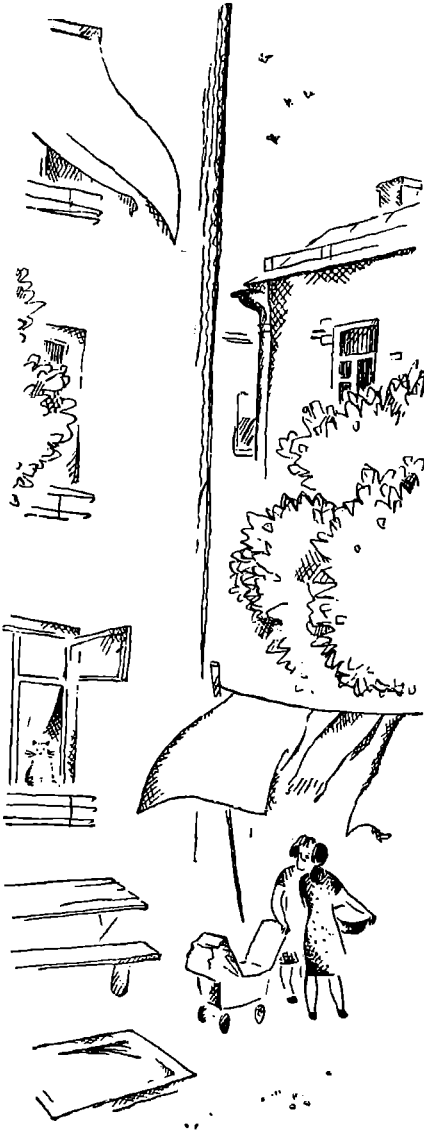
могут застать врасплох и потребовать решения от тебя, и никто не сделает это за тебя.

Как научиться не теряться в трудный момент? Быть Человеком, когда *еще ничего не случилось* и чтобы ничего не случилось страшного, непоправимого?

Мирное время, мирная жизнь... Но кто обеспечит твою, лично твою в ней подлинность? По какой мерке мерить, каким барометром определять климат собственного бытия? Простого, незаметного, среднего, но все равно единственного, ни на кого не похожего. Что тут — «быть», а что — «не быть»?



КОРОЛЬ КАК КОРОЛЬ



Жил король и в нашем дворе. Раньше я этого не понимала — маленькая была, не знала, как такие называются. А теперь точно знаю. Он был король, наш Алешка Робусов, только никто его в этом звании не утверждал. И трона не было, а вот любимая скамейка — та, что прижалась к забору и вечно ломалась под тяжестью Алешкиной команды, — была. И кепочка... Но кто тогда не носил кепок, не заламывал их назад, да так, чтобы виден был чуб и глазам ничто не мешало радоваться миру.

Скамейка (доска на двух тонких ножках) и сейчас стоит на своем ме-

сте, и песочница перед ней, и деревянный стол, за которым во времена Алешки играли в шахматы, а позже годами «забывали козла». Даже единственная асфальтированная дорожка — от калитки к подъезду — изъедена, кажется, все теми же трещинами, и весной наши дети расчерчивают ее такими же кривыми квадратами «классиков», как делали это их родители много лет назад. И красный уголок по-прежнему в отведенном ему для культработы подвальном помещении. Там все еще стоят черные решетчатые стулья, и стол покрыт красной, в чернильных разводах бархатной скатертью.

Здесь мы впервые посмотрели «Ленин в Октябре», выпустили стенгазету «Будь готов!», в фонд помощи жертвам фашизма поставили спектакль, где мне досталась ответственная (как утверждал Алешка Робусов) роль бабы-яги.

Я давно уехала из своего дома, но память нет-нет да и приведет в тихий переулок (где когда-то жил, или ходил, или в кассете просажал Александр Пушкин).

Все по-прежнему... Коляски, дети, много детей, нянюшки, бабушки... Только лица новые, незнакомые. Старых жильцов почти не осталось... Кто не вернулся с фронта, кто переехал, а кто уже и умер...

У нас был не простой дом. Во-первых, он был построен в стиле раннего конструктивизма (о чем, правда, мало кто из нас, детей, знал). Во-вторых (и это знали все), он был «ответственный». В нем жили всякие заслуженные граждане — ученые, актеры, военные...

Был у Алешки Робусова отец, кажется инженер-конструктор, — и его не стало.

Была мать, и она куда-то уехала.

Остался Алешка в свои семнадцать один-одинешенек, пока не приехала глухая тетка, которая нуждалась в Алешкиной помощи больше, чем он в ее.

Впрочем, давно все это было. В квартире, где жила семья Робусовых и крикливая соседка Катерина со своей остроносенькой дочкой Авророй, сейчас живут молодожены, тоже инже-

неры. Очень милые люди, только о Лешке они никогда не слышали.

В красном уголке теперь читают лекцию «Социология брака». В песочнице оборудовали космодром (а мы строили замки и воздвигали крепостные стены). Только кумушки на скамейке ничуть не изменились. У них по-прежнему свой счет к жизни — сколько чего у кого... Сколько пар туфель, сколько шуб, сколько кавалеров, сколько пустых бутылок тащат в авоське на обмен.

— Ну, а Лешку, Робусова Алексея, вы помните?

Смотрят напряженно, что-то перебирают в памяти, перекапывают, перекалдывают...

И вдруг просветленно, радостно:

— Как же, как же — замечательный был парень! Таких сейчас нет.

— А чем замечательный? Что он такого сделал?

— Делал, делал — ничего не делал, а все равно замечательный... Вот только цветы с клумбы рвал...

Ладно, вы забыли, изменила натруженная память. Ну, а мои сверстники, те, для кого он всегда был кумир, вы что-нибудь помните?

Молчат мои сверстники.

— Знаешь, сейчас трудно вспомнить. Одно безусловно...

— Он был замечательный?

— Да, да, вот именно: замечательный...

Не было в доме человека (из тех немногих, сохранившихся с довоенных времен), который забыл бы Алешку Робусова. Лица светлели, глаза улыбались, когда я настойчиво задавала один и тот же вопрос:

— Помните?

— Помним. Очень хорошо помним...

— Но что? Почему мы его так долго, так верно помним?

— Понимаешь, было в нем что-то такое...

Я извела свою и их память: мы должны, мы обязаны вспомнить это его «что-то такое».

Сначала пошли зазубрины, мелочи. Кажется, он всегда по-

сил самые «клешевые» брюки, потертую лыжную куртку, а пальто надевал лишь глубокой осенью. Это он прозвал домоуправа, который так и «не дозволил» нам волейбольную площадку, «Лысым столбняком», а визгливую дамочку из бельэтажа, посылающую на наши головы все детские болезни,— «Мадам барахляй».

Не знаю, когда он ел и когда учился, потому что все время пропадал во дворе. Но десятый класс он закончил на «отлично» и в университет попал без экзаменов как бессменный, начиная с седьмого класса, победитель математических олимпиад. Что касается цветов, то это правда — было такое печальное обстоятельство в его жизни — рвал, причем флоксы с центральной клумбы, потому что Ритка рыжая любила флоксы, и обязательно красные.

Так что «королева» у Алешки была, и даже «снежная», как мы, малыши, ее называли. Хотя постоянный загар и огненный цвет волос не соответствовали этому «титулу», но она была красивой, а красивой Снежной королевы в нашем представлении никого не было.

Почему мы так любили его? Почему всегда поджидали, когда он вернется сначала из школы, а позднее с работы? Почему ему, а не Аркашке из двадцатой и не Генке из тридцать седьмой рассказывали о «придирках» учителей, о домашних ссорах и даже первых сердечных тайнах, когда «Таня+Саша=любовь!», а на стене кто-то рисует углем твое громадное сердце, пронзенное любовной стрелой?

У Шурки Потаповой был хронический насморк, а у Шуркиной мамы — дворничихи тети Шуры — еще пятеро «шурят». Муж у тети Шуры умер, и жили они всем семейством в нижнем помещении, где был газ и водопровод, но, наверно, было не так тепло, как на верхних этажах, и у Шурки Потаповой никогда не проходил насморк. У нее всегда было мокро под носом, и мы не уставали замечать эту ее особенность. Только Алепа Робусов не смеялся. Он молча доставал чистый клетчатый платок и заботливо вытирал семилетней Шурке нос. И нам становилось стыдно.

Все девчонки во дворе здорово прыгали. Наш дом дал перулку чемпионов «веревочки». А я была толстая и неуклюжая. Я была «жиртрест две коровы съест» и очень страдала оттого, что всегда «задеваю». Из-за меня наш двор проигрывал «очки», так что в один далеко не прекрасный день на всеобщем совете «веревочников» меня из команды исключили.

Помню, Алешка Робусов подозвал меня и сказал, что он сегодня перезанимался и ему охота попрыгать. Я посмотрела на него с недоверием:

— Тебе — попрыгать? Ты ведь большой.. Взрослые не любят прыгать...

— Очень даже ошибаешься. Взрослые обязаны прыгать, иначе они обрастут жиром и потеряют перспективу...

Насчет перспективы я не поняла, что касается «жира», то это была моя тема, моя беда, которая пришла задолго до взрослого возраста. И мы начали прыгать. На заднем дворе, между угольной кучей и помойкой, где, кроме кошек и собак, нас никто не мог увидеть. Алешка, согнувшись, быстро перебирал ногами, забрасывая скакалку высоко над головой (он был длинный, худой, но никому из нас в голову не приходило кричать ему: «Дядь, достань воробушка!»). А я «вступала», тяжело дыша и думая только об одном: хоть бы не задеть. И чем больше я боялась, тем хуже у меня получалось.

— Не получится, — скулила я, — честное слово.

— Чепуха, получится. Слово джентльмена.

Это был первый комплекс неполноценности, который я узнала и смогла преодолеть. Первая серьезная наука — побеждать свою слабость, которую преподнес мне, маленькой девочке, уже почти взрослый человек. Зачем он это делал?

Он тогда работал и учился в университете. Наверно, у него были дела поважней, чем наши носы и неудачи в области «скакания». Но ему это почему-то было важно. Он видел в нас то, чего не видели (или не понимали) мы. Он был прирожденным педагогом, который способен дать детям главное — уверенность в себе, ощущение своих возможностей и способностей.

Он всегда с кем-то из нас дружил. И в этом была его чуткость и гибкость — он был со всеми, но каждому казалось, что прежде всего с ним. Его книги ходили по рукам, его игры (он знал их несметное количество) прошли через все наше детство. Лешкиными способностями пользовались все отстающие. Лешкиными мускулами (не для защиты, а для обучения) — всё слабое и хворое население двора. Он тянул наш двор на какую-то ему видимую вершину, где все мы должны были стать красивыми, умными и смелыми. И не беда, что по дороге ушибались, плакали...

— Держись, ребята! — кричал нам Лешка. — Держись, не трусь...

Впрочем, сам Лешка никого пальцем не тронул. Хотя говорят...

— Необходимая оборона, — ворчливо объяснял он, когда ему напоминали про ту историю.

Ту грустную историю, когда он возвращался со своим приятелем Сеней с катка и кто-то из «шпаны» соседнего дома крикнул маленькому, стеснительному Сенечке нечто мерзкое и оскорбительное. Алешка, говорят, окунул «смельчака» в грязь, откуда тот выбрался если не новым человеком, то, по крайней мере, в новом обличье, требующем длительного ремонта. Необходимая оборона... Но разве надо было защищаться?

— Кого ты спасал, Лешка?

— Его, этого верзилу из дома восемнадцать. Может, и он еще станет человеком.

Да, мы любили его. Но главное, при нем — друг друга. Мы — пискливые, крикливые, мелкие забияки и плаксы — были первыми жителями того государства, в котором Алешка Робусов был нашим «некоронованным королем». Он одаривал нас не подарками, не сладостями, а какими-то еще непонятными нам ценностями: незаметно, по крохам, наращивал в каждом из нас человеческий капитал.

Ведь это он услышал, как читает стихи плаксивый Венька, и затащил его в детскую театральную студию. С тех пор Вень-

ка узнал себе «цену», а мы — ему и уже никогда больше не дразнили «плаксой — соленой ваксой». Это Лешка отвел Юльку в баскетбольную секцию, и Юля, ломака и кривляка, стала спортивной звездой двора. Он много что сделал и много чего не успел — для нас, для общества, для науки, потому как, после выяснилось, был талант. Но мы-то этого не знали. Он вел дневник под названием «Свобода, равенство и братство». Дневник нашли новые жильцы и вместе со всеми старыми вещами семейства Робусовых вынесли во двор. Лишь страничка с обломками слов «Свобо... ра... и брат...» сохранилась в архиве Веньки, его верного Санчо Пансы.

А Лешка? Лешки давно нет. Он ведь из тех, кто кепчонку, как корону... набекрень и пошел на войну.

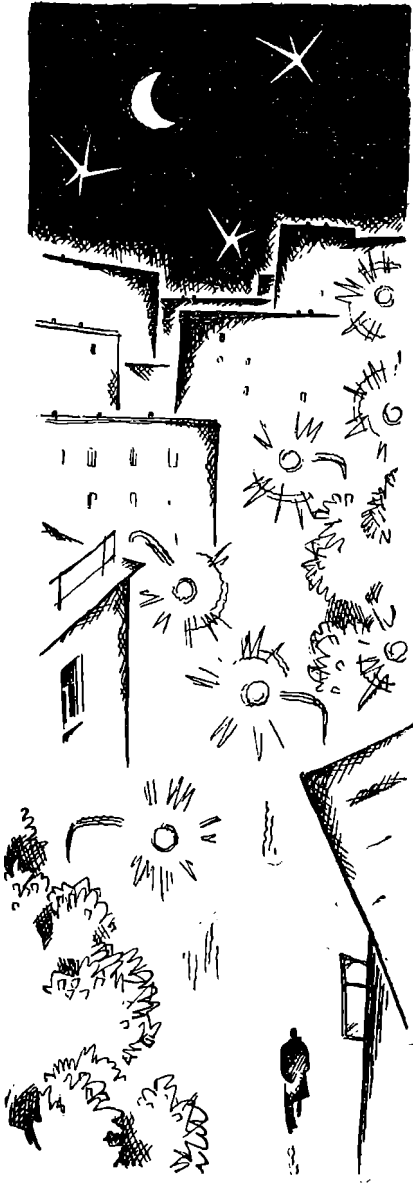
Больше мы о нем ничего не слышали. После войны Веньке все-таки удалось узнать, что рядовой Алексей Робусов погиб. Но где и как? Может быть, в окопе среди десятка других, которых прикончила одна граната. Или в теплушке, во время случайной бомбежки: ехали, покуривали, напевали «неспетую песню свою», и вдруг... Может, в смертельной атаке, в разведке, в рукопашном неравном бою. Может быть, в последний день войны, а может, в первый. Может, человечество еще когда-нибудь узнает о его подвигах, как узнали в конце концов о безымянных героях Брестской крепости. А может, не было этого подвига, а была всеобщая война, и он — среди ее миллионных жертв. Ничего я о нем больше не знаю. Но в одном уверена: если за секунду ему пришлось сделать выбор между спасением ценой предательства или смертью, он выбрал второе. Если пытали, то «умер, ни слова не вымолвив, как настоящий герой». Если был в окопах Сталинграда, то это о нем книжка писателя, и о нем стихи поэта, и над его могилой никогда не угаснет Вечный огонь. Вся его жизнь — тому гарантия: Юлькин баскетбол, Венькин театр, Шуркина независимость и те самые прыгалки, которые я храню по сей день. Вся наша дружная жизнь во дворе, где каждый вечер играл не чей-нибудь, а Лешкин патефон...

Он обладал такой нравственной силой, что с ним и за ним пошел бы весь наш двор, скажи только Алешка слово. Потому что если такой поведет, то на что-то хорошее. Если скажет: «Пора, ребята», — значит, и правда пора.

Что он такого сделал? Ничего особенного. Просто он был король и, умирая, завещал нам свою корону.



ЕСТЬ МУШКЕТЕРЫ...



Э то был уютный, неутомительный для взрослых, детский праздник. Но в конце концов ребятам надоело переставлять фишки в настольных играх, угадывать мнения и ошалело визжать, потому что Танька «лезет», а Витька «пристает». Им пришла в голову счастливая идея — устроить концерт художественной самодеятельности. Взрослые заворковали: «просим, просим», и девочка с красным пропеллером в волосах быстро «прокатила» по клавишам «Сентиментальный вальс» Чайковского. Все одобрительно аплодировали, уверяя девочкину маму, что ее дочка «безусловно талант».

Другая девочка лет шести с удивленными зелеными глазами поразила всех своим английским произношением, за что ее папа тоже получил набор комплиментов.

А потом маленький коренастый мальчик Костик спел нам песню.

Гости сначала улыбались, растроганно поглядывая друг на друга, даже подпевать пробовали и вдруг... затихли. Так, не сговариваясь, все вместе куда-то отодвинулись от этого вкусного стола, от смеха детей, от самого Костики, который тоненьким голоском старательно выговаривал: «Нам еще рано, нам еще рано, нам еще рано лечь».

Нам еще рано, рано было забывать эту песню. Мы услышали ее вскоре после войны в одной из детских передач по радио. Тогда нам и в голову не приходило, что планета наша плодит не только храбрецов... Каждый из нас твердо знал, что «есть мушкетеры», и себя, грешным делом, тайно к ним причислял.

«...Другу на помощь, вызволить друга...» — да кто в этом сомневался?! Разве бывает, разве может быть по-другому?! «Шпагой клянемся, шпагой клянемся...» — вызволим, не подкачаем, не подведем.

О чем задумались мои друзья в эти короткие минуты непредвиденного молчания?

О разном, наверно.

Да, о разном думалось моей благодушной, беззаботной компании в те длинные секунды, когда малыш Костик, ни о чем не подозревая, весело, озорно повторял: «Есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть...»

Кто о чем задумался...

А я тогда вспомнила эвакуацию, пятый барак, в котором мы, «понаехавшие» в этот солнечный хлебный город, «пересаживали» войну. И нашу соседку тетю Потю, даже в самые жаркие дни перевязанную крест-накрест теплым оренбургским платком.

В проливные дожди зимнего Ташкента под керосиновой лампой я ей читала:

Красное шмя,
Высокая честь —
Гренадская волость
В Испании есть...

Тут проклятый комок застревал в горле, и я никогда не могла спокойно дочитать до конца: буквы начинали раздвигаться и неуклюже прыгать перед глазами.

...И мертвые губы
Шепнули: «Грена...»

— Да ты успокойся. Пережди маленько. Или завтра дочитаешь, — утешала меня тетя Потя, вытирая свои и мои слезы концом платка.

Но я брала себя в руки и мужественно заканчивала:

Новые песни
Придумала жизнь...
Не надо, ребята,
О песне тужить.

— Это правда, — говорила тогда тетя Потя, — жисть — она вечная. Вот и Федочка мой погиб, а мы, видишь, живем да еще стихи про него читаем.

И еще я вспомнила девушку Асю, которая пришла тогда за мной «возродить романтику».

В тот вечер я спешила в кино, где «давали» шикарный боевик «Девушка моей мечты». А другая девушка, рядовая и бытовая, из жизни нашего темного узкого переуллка, читала, не отпуская меня:

Я с вами говорю как современник,
Как старый комсомолец говорю.
Мы жили так: на несколько ступечек
Взойдешь — и вот уже достал зарю.

Эти строчки мы записали в уставе нашего быстро проговорившего, первого в Москве (после войны) молодежного клуба

«Факел». С ними открывали клуб, с ними и закрывали. А потом подстегивали свой притихший было энтузиазм, упорно повторяя: «Нам в детях ходить надоело...» И когда после полуночных дебатов, так ничего не решив и не определив, возвращались домой по тускло освещенным проулкам и тупикам старой Москвы, нам и впрямь казалось, что вот сейчас, за поворотом в Хоромный тупик, «усатые тигры прошли к водопою», а «по небу звезды бродят на ощупь», и не зима сейчас, не мороз в двадцать пять градусов, а тропическая ночь, и все мы «на вахте дежуриим».

И много лет спустя, когда бежала я на свидание, когда почти сидели мы на пашей лавочке у высохшего, когда-то чистого пруда или бродили по тем же закоулкам, опять пришло ко мне слово поэта, а через него радость, которой одиноко без печали:

Я не знаю, где граница
Между пламенем и дымом,
Я не знаю, где граница
Меж подругой и любимой.

Думала ли я тогда, что увижу человека, написавшего эти стихи? Что буду сидеть с ним рядом за столиком дымного гулко-го кафе литераторов, слушать его печальные шутки и... ничего не понимать?

Когда в первый раз мне сказали: «Вот он», я не поверила.

— Шутите,— говорю,— игра «на новенькую». Не пройдет. Он не такой. Он не может быть таким.

— Интересно, а каким же, по-твоему, должен быть он? Красавцем с белокурыми волосами и голубыми глазами? Чтобы метр восемьдесят пять, ноги из шеи, мускулы на устрашение врагов и ослепительная улыбка, затмевающая солнце,— так, что ли?

— Пошло,— обиделась я.— Грубо и пошло. Но все равно он — другой.

Все называли его Миша, фамильярно хлопали по плечу, звали: «Иди к нам, Мишенька». А он, сутуловатый, с втянутой в плечи головой, смотрел из-под густых бровей с доброй усмешкой. Сострадательно и сочувственно, как будто знал о людях больше, чем они о себе. Как будто понял в них, подглядел нечто такое хорошее, о чем сами они или забыли, или не догадывались никогда. Все ловили на ходу его остроты, перебрасывались ими, как мячиком, а он охотно «водил» в этой игре, где были странные правила: он, водящий, не принимал, а подавал, не старался сам быть ловким, а помогал быть ловкими другим.

Но все это я увидела не сразу: и мудрую иронию, и бескорыстную щедрость острого ума, и ненавязчивое внимание к новичкам, и незаметную поддержку старикам. И то, как не он «добивается» общения, а его «добиваются», и как «играет» его слово, забыв хозяина, а тот только радуется этому и не ждет благодарности. И как теплеют лица, когда рядом появляется его насмешливое, изрезанное морщинами лицо.

Но тогда, в тот первый вечер, я видела лишь старого, больного человека. Я была во власти несоответствия, несовпадения с образом, расхождения с привычными опознавательными знаками.

Неужто это тот, кто мог рукой «достать до зари»? Кто ходил под пулями, кто кричал нам, потомкам: «Пусть гудит, чтобы не было затишья!» Кто звал нас в бой, и только в бой... Кто требовал: «Выдать оружие смелым, и в первую очередь — мне...» Неужто этот высохший человек в мешковатых брюках, в галстуке, съехавшем набок, — герой нашей юности, отец нашей неувидающей, всем чертям назло, романтики? Я готова была отказаться от него, тут же, не задумываясь, предать, потому что он меня обманул. Не я его — своей убогостью, своей верностью типовым стандартам. А он меня — своей непохожестью на стандарт. Своими затемненными думами глазами — без зари, без тигров и бесноватых звезд.

В тот вечер я посмела пожалеть его: как изменился, как

потрепала его жизнь. Я посмела осудить его — а еще говорил: «Атлантика любит соленого парня с обветренной грудью, с кривыми ногами». А еще тосковал о походных трубах. Пил «За новый поход... за коней тех далеких, отчаянных дней...». Мы так долго верили в его лихость, отчаянную, бесшабашную храбрость... А он мерзнет, согревая руки сигаретой. Он раздаёт, как Модельяни, свои экспромты за холодное тепло случайного застолья.

Ну скажите же мне, что это не он!.. Что вы посмеялись надо мной...

Нет, это был он. Все тот же мечтатель, неизлечимый оптимист Михаил Светлов. Он остался самим собой, только годы и опыт сделали умной его мечту, философской его романтику, незаметной, непоказной его храбрость. Он остался поэтом, познав жестокую прозу, фантазером — не в силу тягот земных, а вопреки им. Он дарил людям шутку, чтобы они не разучились смеяться. Горькую иронию, чтобы не слишком сладким казалось сытое благополучие.

И если он не совпадал, так это с крикливым, напускным героизмом.

И если не желал походить, так это на плакатных бодрячков.

Он был с людьми не только для того, чтобы самому «быть», утверждать свое «Я», а чтобы тянуть их за собой к той же заре, к тем же бурям и страстям.

И когда сотни людей — почитателей и читателей — пришли на его последний юбилей, казалось, что там все юбиляры, кроме него.

Все там были по праву, по членскому билету, по сборникам и томам, а он... ну совсем случайно, по недоразумению или прихоти судьбы.

В тот вечер он был самый неприкаянный на большой сцене. Незаметный, в глубоком кресле. Как будто не ему предназначались все эти подарки и яркие цветы, адреса и уверения (письменные, устные) в любви и преданности — все это, казалось, относилось к кому-то другому.

Но люди говорили, и он терпеливо слушал. Люди пели ему дифирамбы, он их не прерывал. И тогда я поняла: сегодня *не они — для него, а он — для них*. Он, быть может неосознанно, давал им великую возможность говорить от сердца идущие слова. Вспомнить молодость, попробовать еще раз поверить в мудрость старости. Они были раскованы и свободны, гости его юбилея. Они совершали самый осмысленный из всех обрядов — поклонение достоинству, которое своим словом, юмором и сарказмом не подтачивало, а лишь утверждало их достоинство.

И когда, пехотя перебравшись к авансцене, взял он по традиции всех юбилеев последнее слово, в зале стало так тихо, как будто каждому предстояло услышать свой голос, запомнить и удерживать его на годы.

Он достал откуда-то из глубин брючного кармана скомканый лист бумаги и, с трудом разбирая собственные, видно, ночью написанные стихи, стал тихо читать.

...Там было о поэте, который прислонился к дереву и не может от него оторваться. Оно, это дерево, держит поэта, чтобы он не упал. И только это дерево, а не похвалы и восторги, не многое другое — случайное, что приходит и уходит, — а это дерево, выросшее вместе с поэтом, его глубокие, крепкие корни, его зеленая кропа, которая то осыпается, то опять набирает соки, — опора и суть поэта. Кажется, так. Может, что и перепутала. Но главное запомнила. Его дерево — это и есть его мечты, с которыми не расстался, герои, которых не забыл, друзья, которых не предал. Это и жизнь и смерть, которую он не желает оплакивать, потому что на свете еще столько людей, которым предстоит умирать, а значит, надо жалеть и любить живых.

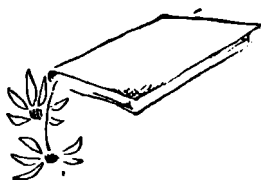
Перечитайте ранние стихи Михаила Светлова, и вы поймете, что герой его — это не только ваш сверстник, но и ваш современник. Его герой — это сегодняшшний человек. Романтик.

Да, романтик.

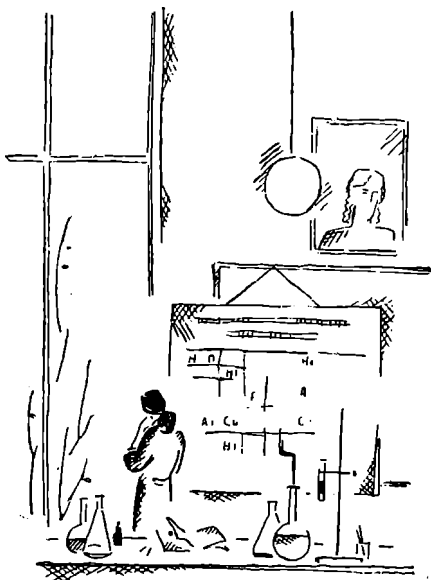
Может, кому-то это и покажется наивным — думать, что твоя жизнь чего-то стоит. И тем не менее только так и надо

думать. И только тогда ты, а не кто-то другой станешь творцом собственной судьбы. И ты — Жанной д'Арк и Амундсеном, и ты — героем, и ты — Михаилом Светловым, который под конец жизни сказал о себе:

Богат я! В моей это власти —
Всегда сочинить и творить,
И если не радость и счастье,
То что же мне людям дарить?

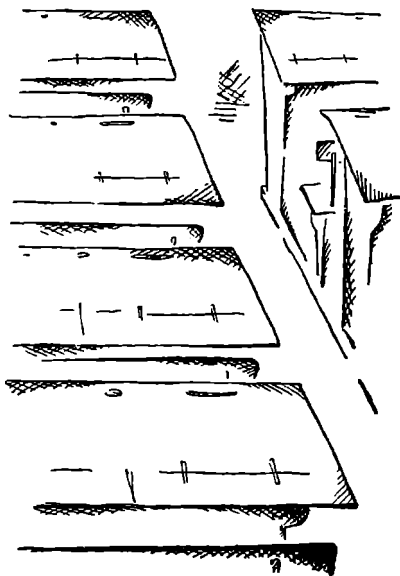


УЧЕНИКИ ЭЙНШТЕЙНА



В девятом классе к нам пришла новая «физичка». А до этого была Елизавета Петровна — хорошенькая, светленькая, со вкусом одетая, по последней моде причесанная. Девчонки откровенно завидовали ее красоте, а мальчишки по очереди влюблялись.

Физика была для нас не уроком, а дипломатическим приемом, на котором все стараются произвести приятное впечатление. Да, мы только и делали, что очаровывали друг друга. «Мама Лиза» (так мы ее называли) — своими платьями, дружеским расположением, еле уловимым кокетством и даже вышколенным седовласым мужем (учтите,



при смуглом лице), капитаном дальнего плавания. А мы — кто чем мог. Кто безмолвным, но полным обожания взглядом. Кто несколько фамильярным обращением с намеком на духовную и человеческую близость. Кто демонстративной любовью к физике, а кто нарочитым небрежением к ней, но с полной симпатией к «маме Лизе»: мол, физику я терпеть не могу, но для вас, Елизавета Петровна...

Мы приглашали ее в театр, ребята танцевали с ней на вечерах. Муж, капитан, проводил с нами увлекательные беседы. Короче, это был образец учительницы, о каких можно только мечтать, писать и в старости вспоминать.

И вдруг пришла новенькая.

Она была настолько не похожа на свою предшественницу, что казалась ее вопиющим антиподом.

Помнится, она вошла в класс как-то боком, тихо сказала: «Здравствуйте, меня зовут Лия Федоровна... Кто хотел бы выступить по заданной теме?»

Она была нескладная, худая, с высокой шапкой жестких, неуложенных волос, наспех подхваченных на затылке шпильками. Шпильки выпадали, и волосы пазойливо лезли в глаза. Невольно хотелось зачесать их, пригладить, но Лиюшка (так сразу мы ее прозвали) будто не замечала беспорядка на голове, как, впрочем, не замечала она беспорядка и в классе. На ней всегда был синий халат с неизменно белым воротничком — единственная деталь туалета, за которой она тщательно следила. Из кармана халата торчала пачка «Беломора»; когда мы делали какой-нибудь опыт, она уходила в свою пристройку (маленькую лабораторию при физическом кабинете), и оттуда шел в класс резкий запах папиросного дыма. Пальцы у Лиюшки были длинные, тонкие, желтые на концах от табака и чересчур свободного обращения с химическими растворами. Лицо продолговатое, треугольное, с неожиданными на нем детскими приоткрытыми губами, утыканное веснушками, которые весной расплзались по щекам и лбу рыжим облаком. Да, нельзя сказать, чтобы она была красива, женственна, что одевалась со

вкусом и следила за своим преждевременно постаревшим лицом. Она говорила низким, охрипшим голосом, но не зычным, не свистящим, как говорят заядлые курильщицы, а тихим, сдавленным, всегда с одинаковой, ровной интонацией, точно настроенной на одну волну, и никогда не меняла ни тембра, ни регистра.

На урок Лиюшка приходила задолго до звонка. И когда мы вбегали в класс, получалось, что не мы ждем учителя, а она нас, давно готовая (задание было выписано на доске, приборы расставлены на партах) его начать. И не мы встаем приветствовать учителя, а она спокойно выжидает, пока мы угомонимся, рассядемся, и тогда без лишних слов, без докучливых замечаний приступала к своему делу.

Первые уроки эта ее отстраненность, будто необязательное, ненавязчивое присутствие были восприняты нами как сигнал к... действию. Мы сначала тихо переговаривались, пересмеивались, перекидывались записочками, а потом все громче, все наглее прыскали, хмыкали, бубнили, погружая класс в пемолчный рокот безобразия. А она будто не замечала нашего откровенного хамства, не слышала неуместных острот, которые действовали на нас, как шутовские хлопущки,— мы начинали покатываться со смеху, входя в такой раж, что забывали, отчего хохочем, над чем, все более отдаваясь свободе вот так безнаказанно веселиться на уроке. Она не кричала, но и не заискивала перед нами. Не ссылалась на свой учительский авторитет, но и не опускалась до панибратства, дешевой фамильярности, к которой часто прибегают молодые учителя для покорения старшекласников. Она продолжала вести урок.

В классе были заядлые физики, наши школьные корифеи. Неведомым нам профессиональным чутьем она сразу выделила их из общей массы и первое время занималась вроде бы только с ними, исключив остальных из среды «избранных», не замечая, не вступая с нами в насильственный контакт.

В конце концов нас стало злить ее к нам, как думалось, полное равнодушие, ее бесстрастные глаза, которые восприни-

мали нас как дурной сон, который все равно должен же когда-нибудь кончиться.

Обиженные таким невниманием, мы расходились все больше и больше. Мы уже устали болтать и хохмить и рады были бы заняться делом (с любопытством поглядывали на спорящих у доски корифеев), но нас игнорировали, и мы злились. И уже вопреки себе, вопреки вдруг возникшему интересу к физике (которая стала для нас чуть ли не запретным плодом), мы продолжали пытаться вывести Лиюшку из себя... Однако нам это не удавалось. Ни разу не повысила она голос, ни разу не сорвалась, не хлопнула журналом по столу, не побежала за помощью в учительскую. И только однажды, когда мы организовано ушли с ее урока (он был последним) в кино, она сказала нам на следующий день своим хриплым, тихим голосом:

— Физика не нуждается в одолжении. А если вам хочется объявить бойкот физике, поверьте, она это переживет. Она и не такое видела...

Понимаете, *физика*, а не она, Лия Федоровна,— вот, оказывается, кому мы выразили недоверие. Не Лиюшке, а закону Ньютона. Не «училку» пытались вывести из себя, а теорию Эйнштейна, которая, при всей своей относительности, абсолютно устойчива.

Мы прыснули по привычке, но, кажется, впервые по-настоящему ступевались. Как ни странно, нам стало не по себе. Мы почувствовали себя жалкими и ничтожными перед этой плохо причесанной женщиной с желтыми пальцами, которая защищала перед нами (но кто мы такие?!) не предмет, не урок, не учебник для десятого класса, а свою науку. Нет, это еще не было окончательным признанием ее — шум, то нарастая, то затихая, еще прокатывался на ее уроках. Мы еще не могли смириться, что она ничего не делает, чтобы завоевать нас. И не заметили, как постепенно нас завоевывала физика. Как в минуты затишья стали доходить до нас слова учителя. И чем больше мы в них вслушивались, тем меньше хотелось произносить свои: ведь Лия Федоровна была богом в своем деле,

...Я никогда не любила физику. Это был как раз тот случай, когда не любят, потому что не понимают. Все эти законы магнитного поля, тепловой энергии, движение брошенных и падающих тел были по ту сторону моего мира. А когда надо было определить мощность тела или выяснить, чему равно напряжение, мой несовершенный мозг отвечал на это таким протестом, сравниться с которым не может даже сопротивление гальванического элемента.

И только Лиюшке, средствами крайне простыми, удалось затянуть в физику даже напрочь равнодушных к ней гуманитариев. Все, что было вокруг и казалось само собой разумеющимся, она облекала в тайну. Невольно, хочешь ты того или нет, тайна манит и тревожит воображение. Даже самый вялый мозг не может устоять перед желанием проникнуть в таинственное, стать соволашебником волшебства.

В ее рассказах центральный нападающий «Спартака» становился кудесником, которому ведом секрет равновесия сил, дым от паширосы — невидимкой, быстро карабкающейся по пожарной лестнице.

Называлось-то это конвекцией, но надо было суметь заставить нас не зевать от этого слова, а добраться, и поскорей, до его смысла. Сквозняк, шум, случайные звуки, пролитые чернила, заброшенный мяч, тепло от батареи, завивка нашей модницы Шувалихи — ничего не пропадало даром, ничто теперь не ускользало из поля нашего зрения.

Увидел — объясни. Услышал — пойми...

Потому что все, как неожиданно выяснилось, — упущенный мальчиком красный шарик, и плывущая против ветра парусная лодка, и скольжение на ледяной дорожке, и трюки акробата, и дождь вместо солнца, и звуки рояля из окна, и лужа перед дверью, и самый скрип этой двери — все физика, законам которой мы, ниспровергающие в свои шестнадцать вообще какие-либо законы, вынуждены были подчиняться.

Лиюшка помогала нам понять не только окружающий мир. Она приучила наш ум спрашивать и не ждать от кого-то отве-

та. Не верить на слово, а искать. Находить решение и снова сомневаться...

Теперь-то я понимаю: она так любила свое дело, что признавала только единомышленников. Другие могли хихикать, разговаривать, учить на отметку — она их не упрекала, не стыдила, просто их общество было ей не интересно, вызывало, в лучшем случае, сострадание, не больше.

В ней было достоинство человека, одержимого любовью, и все уродливое, суетное, несоизмеримое с этой любовью было по другую сторону ее мира. Так далеко, что она не слышала его глухих раскатов, не понимала его языка. И чтобы не напрягаться, не тратить время попусту, не ловить позывные чуждого ей сообщества, она отключала себя от него, спасая свою любовь, чтобы в конце концов одарить нас ею.

...Мы, конечно, всего этого долго не понимали. И ее отрешенность принимали за гордыню (неудачница, диссертацию небось не защитила, а перед нами задается). Ее «покрывательство» наших проступков — за страх перед дирекцией, перед обвинением в неумении «взять класс в руки».

«Руками» не взяла. А мыслями нашими овладела, да так крепко, что добрая половина класса пошла после окончания школы на физический факультет.

Достоинство породило достоинство. Мы, такие бесшабашные, такие молодцы в своих нехитрых выдумках, такие жестокие в своем желании унижить, ущемить достоинство учителя, сами почувствовали себя жалкими перед достоинством ее молчания. Перед последовательным нежеланием вступать с нами в конфликты. Она как бы оставляла нам последнюю возможность устоять перед падением именно потому, что не боялась «пасть», как принято считать, в наших глазах.

Но однажды она упала — в самом прямом смысле этого слова. И этот день решил все.

Как всегда незаметно, вошла она в класс. Хрипло сказала:

— Добрый день! — Спокойно добавила: — Кто сегодня будет заниматься физикой, прошу поднять руки.

Подняли все — на всякий случай. Она недоверчиво улыбнулась и пошла к стенному шкафу. За что-то зацепилась и, неловко путаясь в длинном халате, упала. Это было так неожиданно и почему-то (черт его знает почему) так смешно, что класс грохнул. Парализованные смехом, мы даже не сразу сообразили вскочить и помочь ей. Кажется, в первый раз она услышала наш смех. В первый раз он хлестнул по ней своей бессмысленной жестокостью. Она смотрела на нас с такой грустью, как будто это мы только что лежали на полу, над нами потешались, нам не помогли встать.

— Не может быть, — сказала она так тихо, что мы невольно подались вперед, поперхнувшись собственным идиотским смехом. — Не может быть, что вы такие. Откуда? Зачем? Кто озлобил? Кто научил быть безжалостными к чужой беде? Падать не страшно. Страшно должно быть тем, кто уверен, что никогда не упадет... Вот я вам сейчас расскажу... Давно это было, во время блокады Ленинграда. В январе, в самые морозы. Я шла, вернее, ползла через Кировский мост. Рядом со мной тянулись человеческие тени. Они тащили за собой детские саночки в надежде найти по дороге дощечку, корку, подошву, остатки скамейки — в общем, хоть что-нибудь, пригодное для топки или еды. Нести в руках они уже ничего не могли — даже старая туфля показалась бы им пудовой гирей. Я тоже везла санки, тоже бродила по городу в поисках топлива и еды. Силы кончались, я это чувствовала, да и надежды на случайную «добычу» не было никакой, и все-таки регулярно, как на работу, шла в город на поиски, потому что дома умирали отец и маленький брат. Не знаю, как это случилось, но я упала, а падать было нельзя — это я знала точно. Тот, кто падал, уже не вставал. Тихо так соскальзывали люди в снег и затихали. Наклониться, протянуть руку значило бы свалиться самому и... навсегда. И когда я вытянулась на ледяной дорожке, пробитой сквозь сугробы сотнями отмороженных ног, я почувствовала себя почти счастливой: ну все, отмучилась, можно больше никуда не ходить, ничего не хотеть и, главное, не хотеть жить. И вдруг

кто-то наступил на меня и почувствовал, наверно, слабое сопротивление моего тела. «Живая?» — спросил женский голос. Я застонала, и тогда женщина нагнулась, чтобы поднять меня. Я была неподатливая и тяжелая, я не могла ей помочь. Наша возня походила, наверно, на эстрадный номер — ненецкая борьба двух малышей в исполнении одного актера. Но тогда нас было двое, и нам было не до смеха. Когда она наконец поставила меня на ноги, силы ее кончились, и она осталась на том месте, где только что лежала я. Я попыталась нагнуться, а она быстро-быстро так зашептала: «Не нагибайся, упадешь, и тогда конец. Ты еще молодая — поживи. А мне все равно не дотянуть...»

Я стала кричать. Но это только я думала, что кричу. А на самом деле голоса не было — какое-то шипение, которое на лету замерзало, не успевая складываться в слова. Прислонившись к барьеру, я смотрела умоляюще на прохожих. Но люди смотрели только перед собой, боясь потерять равновесие даже от малейшего поворота головы. Кто-то подхватил меня под руки: «Не стой, дурочка, замерзнешь». Я пыталась вырваться, вернуться. Кричала, плакала... Но этого никто не слышал и не понимал, кроме меня... Я так никогда и не узнала имени этой женщины. Не знаю, где ее могила. Не знаю даже, кому обязана своей жизнью. Но я знаю, что значит падать и какой ценой помогают иногда встать.

...Она не знала, кого благодарить за *свое* спасение. Но мы, ученики девятого класса «Б», и по сей день помним, кому обязаны своим.

Можно было бы рассказать, как дружили мы с ней потом. Как ходили домой, в маленькую, заваленную книгами и старыми журналами комнату, где ее мама угощала нас жареной на сале картошкой. Как читала Ляшюшка стихи неизвестных нам поэтов. Как скупно рассказывала о своей блокадной жизни и никогда — о неудавшейся личной. Как в десятом классе ездили мы с ней на зимние каникулы в Ленинград, и она показала нам то место на Кировском мосту, и мы долго стояли, сняв

шапки. А прохожие посмеивались: «Ну и мода...» Но это уже другая тема... Об этом как-нибудь в другой раз...

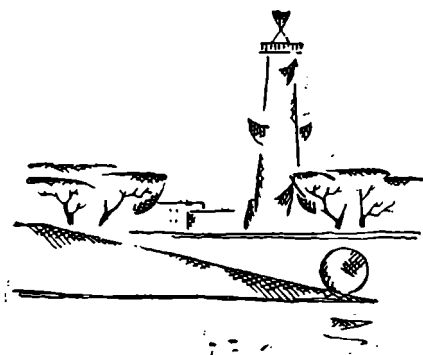
На выпускном вечере мы подарили Лиюшке портрет Эйпштейна с надписью: «Достойной ученице великого учителя».

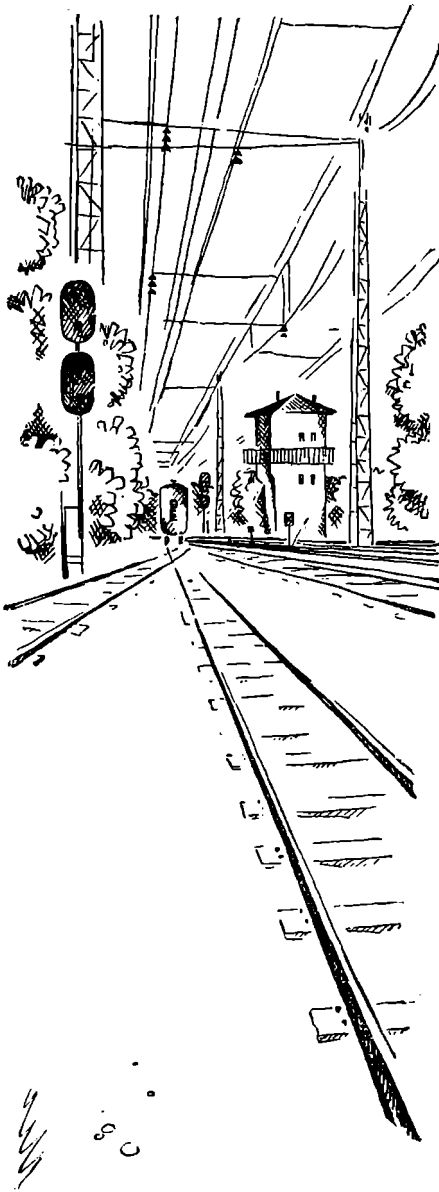
Она покраснела. Неожиданно по-детски шмыгнула носом:

— Ну, это уж слишком. Это вы... — и убежала.

Я вспомнила эту историю на детском празднике, когда мальчик Костик уверял нас, что «есть мушкетеры»,

Есть они, есть...





... **Н**аступили последние школьные каникулы. Впереди был страшный десятый, и каждый из нас считал, что это последнее свободное лето в его жизни. Поэтому надо провести его так... Но как—мало кто знал. И только пятеро приняли твердое решение — организовать коммуну и уехать в деревню, дабы приучить себя к самостоятельности, к которой не были приучены, воспитать волю и одновременно характер.

«Что день грядущий нам готовит? — торжественно записали они в дневнике. — С каждым днем он, этот день, становится все ближе. Удастся ли поступить туда, куда

хочется? Да и твердо ли мы знаем, чего хотим? И все-таки мы мечтаем и от мечты своей никогда не откажемся, чтобы после института уехать куда-нибудь всем вместе. Как прекрасно будет, когда в дальнюю деревню к врачу Ире придет для изучения вирусов или чего-нибудь в этом роде биолог Оля. И вдруг в Москве установят, что именно в этом месте скрываются от глаз человека редкостные запасы железной руды. И срочно направят туда экспедицию во главе с выдающимся геологом Люсей. А потом в нашем селеньице появится завод, и инженером на нем будет Света. И такое это будет замечательное место, и такие там будут умные, талантливые люди, что им для духовной жизни потребуется институт искусств, и ректором в тот институт назначат крупнейшего искусствоведа современности товарища Лялепцию. И снова «Шайка-лейка» будет вместе. Маниловщина? Сентиментальщина? Считайте как хотите, но так будет, а если и не так, то все равно похоже, все равно хорошо...»

В местной больнице их восхищал врач, у которого кругло-суточный прием. На фарфоровом заводе — администратор, который пропустил их в цех без документов. В домике Чайковского — «простота и доступность». В фильмах — «благородство героев». В книгах — «мысли, которые помогают понять себя».

Их возмущали ханжество, трусость, эгоизм.

Пора, однако, сказать, кто они такие и почему я вспомнила о том далеком лете.

В классе были девочки красивей, умней и остроумней.

Майку прочили в кинозвезды, Киру — в манекенщицы. Остальные тоже были чем-то по-своему замечательны. Начитанностью, женственностью или мужественностью. С Верой Косициной наш «балетрук» всегда показывал па и даже поцеловал ей однажды руку. Аленка славилась правдолюбием и конфликтами с учителями.

Те пятеро отличались от других тем, что были всегда вместе. Не лезли в «первачи», не оповещали о своих радостях и трагедиях все человечество, не ходили на танцульки, не влюблялись (по крайней мере, никто об этом не знал).

Они были незаметны, но необходимы. Умницы, хорошие товарищи, что подразумевалось само собой и ни разу не потребовало пересмотра. Всех нас притягивала их устойчивая порядочность, ответственность за свои слова (в 17 лет это почти что чудо), поразительная способность каждый раз открывать мир (будь то «Лунная соната», «Дядя Ваня» во МХАТе, письмо Есенина матери или письма из тюрьмы Фучика). Они не влюблялись в мальчишек (случайно так получалось или мешала природная застенчивость), зато все время влюблялись в жизнь.

Я все время говорю «они», хотя, естественно, *они* были разные. Но сейчас мне важно понять, что их объединяло, что заложило тот фундамент, который помог им сохранить свою чистоту и цельность, не сломаться под тяжестью обстоятельств, не отказаться под их давлением от своих идеалов (хотя в моем рассказе речь пойдет только об одной из них).

Итак, последним школьным летом они уехали в деревню. Можно было бы вспомнить о правилах и законах их коммуны под названием «Шайка-лейка». О том, как ходили в походы, пели песни под гитару, дурачились, веселились, читали вслух серьезные книги, мечтали по ночам о своем будущем... Кстати, тогда походы были еще в повинку, а гитара считалась принадлежностью купеческого прошлого или мещанского настоящего. Да и чтобы школьники все лето в отрыве от старших, без надзора и опеки, — такое тоже бывало не часто и вызывало всеобщее восхищение. Они первые из нас «вкусили» самостоятельность.

У них был гимн «Кто в дружбу верит горячо...». Они верили. Любимая песня — «По улицам шагает веселое звено, никто кругом не знает, куда идет оно...». А они знали. Любимое «ругательство» — «Будь ты трижды эвакуирован» (в списке неологизмов коммуны, приведенном в конце дневника, указывается: «Кто хоть раз эвакуировался, знает, что это куда страшнее, чем быть «трижды проклятым»). И наконец, любимая шутка, очень в то время популярная: «Алло, психи, что у меня в кулаке? Трамвай. Ха-ха-ха, подглядели...»

Такая безобидная шуточка, которой всерьез никто не придавал значения и быстро забыл, как забываются все сезонные анекдоты.

Алло, «психи»... В дождь — купаться. В ночь — по грибы. В сумасшедшей радости — встречать гостей. В задумчивости — а что нас ждет? В тишине — не потеряться бы, не растерять свои коммунарские реликвии...

Алло, «психи», что у вас на уме?

Быть гордыми — хочется. Быть честными — хочется. Не быть подлости — быть сильнее подлости. И еще любить — мужественно (это обязательно), сильно, страстно... Ну, как Анна... Анна Каренина? Нет, товарищ Анна. Была такая очень в то время популярная книга — «Товарищ Анна».

...Они читали три дня, забыв о хлебе насущном и своих коммунарских обязанностях. Потом в дневнике появилась запись.

Я привожу ее дословно.

«Ирка осипшим голосом продолжает читать вслух. Мы бросаем свои обычные при чтении занятия и, не отрываясь, смотрим на красную от волнения чтицу. В тот момент, когда в тайге Андрей, муж Анны, целует Валентину, мы не выдерживаем и хором кричим: «Подлец!» Мы единодушны, как никогда. Ведь он так долго нравился нам... И вдруг — измена. Он изменил не только своей жене Анне — он изменил всем нам. Да и как мог настоящий мужчина пойти на такое. Валентина ни у кого не вызвала сочувствия. Для нас она женщина, достойная лишь презрения — желчного и злобного. И вот конец. Ура, счастливый! Андрей вернулся к Анне, она простила его, и они будут жить той же прекрасной жизнью, какой жили до сих пор... Валентине тоже улыбнулась фортуна — она вышла замуж. Бог с ней, пусть живет и радуется, тем более что она нашла в себе силы признать свою вину. В конце концов, каждому хочется быть счастливым...»

Они были безапелляционны в своих суждениях, категоричны.

Мир делился для них на красное и черное, сложная палитра чувств была недоступна, казалась нарушением правды.

Они верили в любовь, честность, порядочность, благородство. И правильно делали. Однако не может (а часто не хочет) понять юность, что богатства эти не гарантируются одним фактом нашего появления на свет.

Они есть. Они — в нас.

Но «сезам, откройся!» — это сказка.

В жизни все куда сложнее (да простит меня читатель за банальную истину, от которой все же не следует отмахиваться), и первые столкновения с ней могут быть очень болезненными. И тогда некоторые теряются. А растерявшись, начинают гневаться. А в гневе уже не различают следов былых идеалов. И в минуту готовы расстаться с тем, что накапливали многие годы.

Или надолго уходят в себя, чтобы не слышать голосов, не всегда ласкающих их тоже ведь далеко не идеальный слух. А между тем в идеале — надо бы выдержать, продержаться. Иногда день, а иногда годы, не предавая мечту, а высвобождая ее из паутины иллюзий.

Одважды Мейерхольд (вы наверняка слышали об этом умном, талантливом режиссере) сказал: «Вид пропасти у одних вызывает мысль о бездне, у других — о мосте». По-видимому, тут еще очень важно, как мне кажется, не потерять очертания своего берега.

* * *

...Мы не виделись много лет. Я знала, что коммунары, как и хотели, разбрелись по стране — кто в Сибирь, кто в Азию. Вот только встретиться им не удалось.

Однажды в новосибирском Академгородке я встретила нашего геолога — Люсю. Она-то и дала мне на хранение дневник и еще Ирино письмо, из которого узнала я ту странную историю. Все мы о ней слышали, но мало что поняли. Да и невозможно

было поверить, что сдержанную, аскетически скромную Иру осудили за безнравственность и распущенность.

— А дальше, что же было дальше? — спрашивала я Люсю, все еще ничего не понимая.

— Не знаю. Я долго была в отъезде — потеряла связь. С тех пор я ничего о ней не знаю.

С тех пор... Чего только не произошло с тех пор! Мы отгуляли свою юность, отспорили, отучились. Обзавелись служебным стажем, семьями, детьми. Появились первые морщины... Чего только не ушло за эти годы... И самое грустное — с тех пор мы не виделись.

Это письмо Ира написала коммунарам на четвертом курсе института, через несколько дней после того собрания, когда «судили» ее любовь.

Было такое. Было это грубое вторжение в мир, природой созданный для «личного пользования». Его муки не оглашают на собраниях, его раны не лечат голосованием. Но иногда и сейчас вмешательство в любовь считается ее гарантией. «Товарищеское» чистилище — избавлением от «греховности». Выговор по делу влюбленных — поэтическим вкладом в любовную лирику.

Вот так и случилось — не «товарищ Анна» стала Ириной судьбой, а та, которая «посмела» любить чужого мужа. Все оказалось сложнее, не совпадало со школьным путеводителем по жизни, не соответствовало карте ее начальных и конечных пунктов.

И она испугалась, но... только для того, чтобы преодолеть испуг. Так бывает. В один прекрасный день фотограф становится художником. И тогда летят к черту все представления о похожести. И лес становится его лесом — желтым, красным, непонятно каким, но его. И реки льются дождями, и дожди струями текут по земле. И на стене дома напротив появляются краски, десятилетиями вбираемые от света, от людского горя, от теней счастливых, от грома, от зари. И художник еще пугается самого себя, он еще повторяет: «Не похоже», а внутри

все торжествует, беснуется от рождения таланта, от неожиданно проснувшегося дара видеть то, что не дано другим.

Так было и с Ирой — сначала испуг, потом воскрешение. Сначала страх, потом прозрение и благодарность любимому за тайну, за то, что только у нее такая любовь и только она ода-репа страдать ею. Нет, она не потеряла свою наивную веру в счастье, она стала сознательным поборником этой веры и по-тому в конце концов сумела простить тех, кто считал ее «веро-отступницей».

Просто с ними еще такого не случилось...

Я поняла это, когда много лет спустя читала ее письмо.

«...Он предал меня, — писала она. — Испугался. Выходит, я любила и знала совсем другого человека, а не того, который «признал», что я воспользовалась его природной мягкостью и добротой... Хотелось завывать от ужаса, закричать, как в детстве: «Ну какой же ты гад!» Но ведь погибал он, а не я. На моих глазах бился в агонии человек, которого я любила. И я поняла: надо спасти его. Одно мое слово — оправдания ли, обвинения — будет последним для него. Я вступлю в торг и уничтожу и себя и его. Я видела по его глазам, как ждет он моих обвинений или защиты — все равно. Как хочет, чтобы я облегчила его участь, не дала ему падать одному. Но я молчала. И чем больше, тем меньше у него оставалось подлых слов, тем глубже уходил он в тишину своей совести, и только там еще тлело его спасение. «Ну, продержись еще немного, — думала я, — затихни, замри — и ты услышишь себя...»

Но ему «помогли». Те слова, которые не успел сказать он, сказали за него. Те намеки, от которых инстинктивно отворачивалось его достоинство, произнесли неправомочные на то судьбы. Они думали, что спасают его, и не понимали, что в упор расстреливают. Когда он торжествующе улыбнулся (а до этого глаз не поднимал), я поняла — все кончено, он погиб. Эта жуткая, под аплодисменты, «смерть», эти похороны живого были для меня страшней, чем тогда, помнишь, в крематории, под траурный марш Шопена...

Мне вынесли выговор. Его — простили. В институте я больше не останусь — переведусь в другой город. Понимаешь, здесь все память — коридоры, где мы ходили, буфет, где проглатывали горелые пирожки, читальня, где писали друг другу записки, лестница, по которой вместе прыгали через ступеньки, раздевалка, где висели рядом наши пальто. Если найдешь наш дневник, допиши к той страничке про «товарищ Анну», что я не жалею о нашем детстве. И если выстою, так это только потому, что все еще дышу его воздухом, его простодушием, нашей с вами всрой в мечту».

* * *

Вы спросите, как такое могло случиться? Неужели на целом курсе, единодушно осудившем своего товарища за... любовь, не нашлось человека, который бы встал и сказал: «Помилуйте, что мы делаем? Кого судим? За что?»

Нас с детства учат: не будьте эгоистами, индивидуалистами. Помните, что коллектив — наша опора. Защита и гарантия от всех бед и несчастий... Все верно. Но вот о чем я думаю: насторожившая против индивидуализма, мы одновременно не предохраняем себя и других от приспособленчества, которое не имеет ничего общего с товарищеской солидарностью. Ложный коллективизм не лучше презревшего коллектив эгоцентрика. Основа-то у них одна — представление о себе как о высшей, непогрешимой силе.

Впрочем, может быть, кто-то полагает, что коллектив — это не «он». А раз так, «пусть *они* решают, *меня* это не касается», и ставит подпись (или голосует) под решением, которое *они* приняли, и к нему оно действительно не имеет отношения, потому как не его судьба решается.

Быть в ответе — это не обязательно признание вины, расплата за содеянное. Это не только отрицание себя, чаще — подтверждение... Я сделал, сознавая всю меру своей ответственности...

Но ведь все говорят: виновна. А что, если...

Принято считать, что право сомневаться принадлежит гению. А иначе, наверно, не было бы великих открытий, книг, картин, симфоний. Он слышит мир, он говорит с ним, он уважает открытые законы, но одновременно он слышит и себя и не боится, когда его голос не звучит в унисон с другими.

Гении рождаются не часто. Но каждый из нас в какой-то момент тоже может в чем-то усомниться, чтобы сохранить свою человеческую ценность, которая в конце концов все равно пойдет на пользу обществу.

О том, что у нас одна жизнь и ни на какую другую рассчитывать не приходится, всем известно. Это во время экзамена на аттестат зрелости дозволены спасительные черновики, поправки, вставки... На остальных экзаменах, которые мы, часто сами того не сознавая, проваливаем или выдерживаем каждый день, черновики нет. В каждый данный момент, по утверждению философов, человек либо реализует, либо отрицает сам себя. И поправки невозможны, процесс этот необратим. Впрочем, он незаметен. Можно было бы сойти с ума, если бы с утра и до вечера мы чувствовали себя у жизни вечными абитуриентами и подсчитывали отметки на проходной балл. Но бывают такие моменты, когда человек раз и навсегда либо утверждает, либо лишает себя человеческого звания. Так было с Ирой. На краю пропасти она не пожертвовала своей личностью за сомнительное прощение.

Ее поведение не было ни упрямством, ни противопоставлением себя коллективу, а самоуважением, основанным на подлинности тех ценностей, которые пытались бездумно подвергнуть сомнению поддавшиеся коллективному заблуждению товарищи.

«Быть честными — хочется. Быть гордыми — хочется. Не бояться подлости — быть сильнее подлости.

И еще — любить...»

Это ведь не просто запись в дневнике — это основа нравственности, в заповеди которой она поверила и отречься от них не собиралась.

Прошло десять лет. Городок, куда я приехала в командировку, ничем не отличался от других районных центров. Приехала я днем. Районная газета, о которой собиралась писать, в полном составе выехала на «боевые участки». И мне ничего не оставалось делать, как запереться в коробке одиночного номера с окном, занавешенным от мух и чужого глаза белой простыней, и читать купленные в киоске последние номера местной газеты. И показалось мне, будто глухую районную тишину пререзали неслышные выстрелы, просветили невидимые лучи прожекторов, «окатили» моторным гулом стаи истребителей. А мое занавешенное оконце — типичная светомаскировка первых военных дней, когда еще не было специальных маскировочных штор и люди закрывали окна одеялами и простынями. Казалось, здесь, в этом городе, проходит сейчас линия фронта и снова, как много лет назад, слышится почти забытое: «От Советского Информбюро...»

«...Главное направление... Основной удар... Последние сводки... Не отдадим дождю ни одного стога сена... Главный маневр... Сокращая заслон...» Все это так не вязалось с молчаливой улицей, с яблочками «на штуки» у маленького базарчика, с модными кофточками, которые «забросили» в местный универмаг. Со всем этим размеренным, спокойным житием, когда только одна почта, и девушки-почтальоны знают в лицо каждого адресата, и один продмаг, где и макароны, и валенки, и розовый портвейн — все вместе. И кино, только три дня в неделю, и танцплощадка, где только по субботам и воскресеньям можно потанцевать. При чем тут «удары, бои, заслоны», когда в ресторане на новенькой радиоле уже с утра официантка Танечка «крутит» свою любимую «Не спеши, когда глаза в глаза...»? Какие уж тут «разрывы», когда комбинат сгущенного молока приступил к выпуску новой продукции — «сгущенки без сахара»?

Такой мирный городок, и такая военная газета. Такой спокойный, добротный, чуть сонный, а на газетных полосах —

тревога, напряжение, суровая деловитость, призывающая к бдительности и дисциплине. Может быть, это и есть мирная жизнь, когда внешне все вроде бы тишь да гладь, а внутри, там, где перегоняется по артериям кровь этой жизни, всегда схватка, всегда борьба. Борьба за стабильность, уверенность, за спокойный сон и возможность покупать красивые кофточки и читать хорошие книги.

Ночью, видно, шел дождь — все развезло, разляпилось. Я выбежала из гостиницы пораньше, чтобы успеть в редакцию на утреннюю планерку, и на углу — между базарчиком и книжным магазином — очень плавно, как на замедленной съемке, погрузилась в широкую, гостеприимную лужу.

Кто-то подошел, стал поднимать (глаза залепила грязь) и при этом весело («Лежачего всегда бьют», — со злостью подумала я) приговаривал:

— А если и споткнется вдруг, то встать ему поможет друг...

Я подняла глаза... Это мог быть кто угодно — известный кинорежиссер, выехавший на натуру, писатель, путешествующий по стране в поисках свежих впечатлений, даже Марчелло Матростройни, который где-то в этих местах изучал Россию на съемках итало-советского фильма. Кто угодно, только не Ира, не живой представитель «Шайки-лейки», протягивающий мне, согласно всем коммунарским законам, руку помощи в минуту жизни трудную.

После того письма я часто пыталась представить себе ее дальнейшую жизнь.

Можно было предположить всякое... Ушла от людей, чтобы не видеть их уродства. Отделлась глухим забором, чтобы не дать соблазнам проникнуть, заманить и снова предать. Ведь уехала, пропала — это знали все. В первую секунду я ждала лишь подтверждений наших самых худших прогнозов. Потом я увидела блестящие, молодые глаза и две веселые ямочки на прежнем месте. И каштановые, коротко подстриженные волосы, подхваченные по бокам совсем школьными заколками. И лад-

ную спортивную фигуру (лучшая гимнастка в школе) в модном плаще и яркой вокруг шеи косынке.

А когда услышала: «Алло, психи, что же у нас в кулаке?» — поняла: все хорошо, все отлично, и если кто и заслуживает жалости, так это ты сама, которая «попала в лужу» со всеми своими литературными наслоениями и ассоциациями.

После обоюдных криков, несвязных: «Господи, сколько лет, сколько зим!.. А ты все такая же!.. А ты молодец!.. А ты... Помнишь, когда приезжала в коммуну, ну точно так же растянулась, когда мы провожали тебя на станцию... Подумай, действительно... Ну надо же... Ну прямо как в плохом кино: сказать кому-нибудь, так не поверят. Ладно, все это чепуха, рассказывай, как ты... Где... Что...»

— Господи, я опаздываю — в девять операция...

— Значит, в больнице?

— Да, как и хотела. Только...

— Что — только?

— Мечталось, помнишь, клиника, белые залы, аппаратура, как в вычислительном центре.

— А здесь?

— Здесь... Придешь — посмотришь. Может, напишешь... Ведь болеют везде одинаково. Ну ладно, ты-то как?

— Живу... Или доживаю — не знаю.

— Иди к черту... Мы тебя читали... Нет, честно, нам со Стаськой нравится.

— Стаська? Это кто — муж?

— Да, как в сентиментальном романе — тоже врач, к тому же из местных. Простой и скромный.

— И дети?

— И дети, аж двое. Также вполне скромные и простые товарищи. Слушай, да не требуй ты от меня отчета за всю жизнь... Вечером в восемь мы тебя ждем — будет пирог и коктейли. Собственного изобретения... получишь рецепт... Все, бегу...

— Адрес, какой адрес?

— Четырехэтажный дом у горсовета — местный небоскреб. Второй этаж, квартира пять. Побежала, до вечера...

До вечера я не могла найти себе места. Я приехала сюда раздраженной и замученной.

В последнее время все не клеилось — не писалось, не сиделось на месте.

Когда предложили ехать в командировку, обрадовалась. А приехала, и места себе не находила — и душно, и мухи, и эти боевые, по-военному тревожные газеты. И вдруг, как бальзам на рану, эта встреча. Эта живая радость в глазах. Эта непоказанная озабоченность труженика, это, как послание детства, чистота, естественность, непосредственность. И таким повеяло на меня здоровьем, таким надежным внутренним покоем, что хотелось скорей к ним, чтобы вдохнуть в себя побольше нормального свежего воздуха.

Я шла к Ире, как идут на первое свидание, когда не сомневаются, что тебя ждут, что тебе рады.

Так оно и было — ждали, радовались. И квадратный, обстоятельный доктор Стась добросовестно, со знанием дела, взбивал коктейли. И дымился на столе пирог. И дочка Лёлька надела к приходу гостя бархатное платье и лакированные туфли — подарок к десятилетию. А другая дочка Катька ни разу не пискнула (по такому торжественному случаю) в своей коляске, круглосуточно выставленной для гулянья на балкон (за что и прозвана Гулькой).

Мы сидели до ночи и говорили, как в лихорадке, в неистовом запое, опрокидывая год за годом, мешая в хмельной от встречи памяти детство, юность и все, что было потом.

Я узнала, что Ира попала сюда по распределению. Сначала хотела вернуться, но вышла замуж, родилась Лёлька. Обещали новую больницу. Прошло пять лет, а ее все нет. Пока на нее уходит больше сил, чем на лечение, — поездки, письма, деловые встречи, доказательства. Как теперь уедешь — ведь ждут, и неизвестно, кто больше — больные или здоровые. Да куда бежать? Зачем? Здесь лес, река, тишина. Блага цивилизации? Да, воды

горячей нет. И такси не нужно, а жаль — уж больно все рядом. Но главное-то есть — больница. Правда, старая, зато персонал молодой, практика — колоссальная, работай, не ленись. Конечно, она засасывает, некогда закончить диссертацию. Но в конце концов лечили же раньше без кандидатских. Кто сказал, что в них призвание и признание врача?

— Вы думали, я опустилась, раскисла. Удрала из большой жизни? Все наоборот — я к ней пришла. Смех смехом, а ведь выполнила то, о чем мечтала. Детские глупости? Возможно, но в тишине районного городка я приобрела не меньше, чем многие мои коллеги в суете больших городов. Я не проповедую сельскую идиллию, но мне так лучше. Не знаю, поверишь ли, но мне — хорошо.

Я поверила. Ходила сюда каждый вечер и считала с ужасом дни до своего отъезда. Я нашла в ее жизни все то, чего не достает многим. Покой, который не снится, а существует наяву. Тишину, в которой нет и намека на оглушенность. Когда говорят, а не заговаривают друг друга. Когда слушают, потому что каждому и правда интересно, что скажет другой. Когда вечером не валятся от усталости на диван: «Надоело... Пропади все пропадом... Будь она неладна, эта «контора», — а продолжают говорить о работе.

И тогда я поняла: в тот первый день обычную жизнь я приняла за фронтную не от наивности, а от жизни в иной системе координат. В этой системе я и мои товарищи тоже работают, а не совершают подвиги (подвиг — напряжение сил на время, на острый момент, а работа, как сказала Ира, «навсегда»).

Но каждый, приехавший сюда на время, действительно почувствовал бы во всех этих «заслонах», «ударах» запах пороха, отдаленные раскаты боя. И считал бы себя если не героем, то, по крайней мере, человеком мужественным и храбрым. И невольно, хотел бы он того или нет, гордился своей исключительностью, своим умением приспособиться к трудным условиям. И в этом была бы его главная беда. Тут нельзя приспособливаться. Тут надо жить. А иначе, рано или поздно, обязатель-

но почувствуешь себя жертвой. Может быть, даже не будешь жаловаться — ведь знал, на что шел. Но почему этого никто не замечает? Почему не воздают должное? И будешь сначала ждать, а потом ворчать. Сначала работать увлеченно, с должным запасом прихваченной с собой романтики, а потом с желчной неприязнью, а то и с отвращением: вот сиди здесь, «вкальвай», служи, как солдат, а кому все это нужно, кто замечает, кто благодарит? Жертвенность, тем более затяжная, редко бывает бескорыстной. Она одаривает, но за это обязательно когда-нибудь потребует благодарности.

Секрет Иркиного благополучия не только в том, что есть любимая работа, семья, дети, удобная квартира, приличная зарплата и все прочее, неизбежно включенное в арсенал устроенной жизни. Секрет ее в том, что она не приравнивается к местным условиям, она ими живет. Отнюдь не покорно, не смакуя умиленно трудности. Она их знает, она ими болеет. Как истинный врач понимает: даже в самом тяжелом случае мало поставить диагноз, надо найти способы не только облегчить страдания, но и попытаться избавиться от первопричины. И потому все эти «схватки», «удары» и «провалы» для нее не экзотика, а история местных болезней, которую ведет не посторонний наблюдатель, а лечащий, остро реагирующий на все обострения и осложнения местный врач.

Хочется ли ей в Москву? Иногда, особенно в Консерваторию. Хочется ли жить в большом городе? Ни за что. Здесь работа, налаженный ритм быта, который освобождает время для друзей, книг, семьи да просто на интерес друг к другу. А потом, они обязательно куда-нибудь идут. Ну да, идут в поход, а если дальний, то по воде и суше. Хочется ли...

Она угадывает мой вопрос, который я не решаюсь произнести вслух.

— Хочется ли мне взрыва, неожиданностей, непредвиденного сумасшествия, того «амока», который потянет за собой в неизвестность? Пожалуй, но не с ненавистью и отвращением к этой моей жизни, а, скорее, со страхом ее потерять. И знаешь

точным ощущением, что надежней, человечней уже ничего не будет.

Да, в этом доме на втором этаже районного «небоскреба» поселилось счастье. Но не об этом сейчас речь. Во всем — в непрерывных звонках больных, в медицинских книгах, которые выписываются из Москвы, в портрете Рихтера на стене, в нагромождении велосипедов и лыж в коридоре, в аквалангах и масках, заброшенных на антресоли, в крепости вечернего чая, в названиях журналов, в подборе пластинок, — во всем чувствовались неизменность и определенность Ириной личности. Я не только узнала ее, я нашла ее очень похожей на прежнюю Иру, притом не растерявшую себя, а обогатившуюся. Не замученную этими обстоятельствами, а заново открытую ими.

...И вспомнились мне читки «Шайки-лейки», и бурные дебаты после каждой книги, и влюбленность в героев, и вера в свои возможности, которую рождала в них доброта и мудрость настоящих писателей. Нет, все это не утратила наша Ирка и по сей день да и мужа своего сделала «внештатным» членом коммуны, приобщила к ее непосредственности, нестареющей увлеченности жить.

...Она прибежала меня проводить, хотя мы уже распрощались, и я знала, что днем она занята и прийти на вокзал («вот обида-то») не сможет.

— Зачем? Ведь мы договорились...

— Мне показалось, что у тебя неважное настроение. Что-то тяготит. Но что?

— Что-то... Это очень запутанное, захламленное «что-то». Я завидую тебе, Ирка. Искренне завидую...

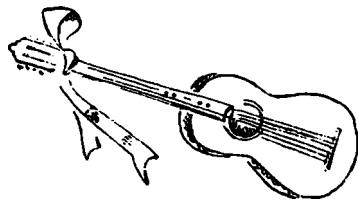
Подошел поезд, объяснять было некогда. Да и как объяснить?

Я завидую твоей тишине, в которой слышно каждое слово, и словам, которые вы так уверенно произносите в тишине. Твоим детям, которым никогда не будет с тобой страшно. Твоим больным, которым нужна именно ты и никто другой.

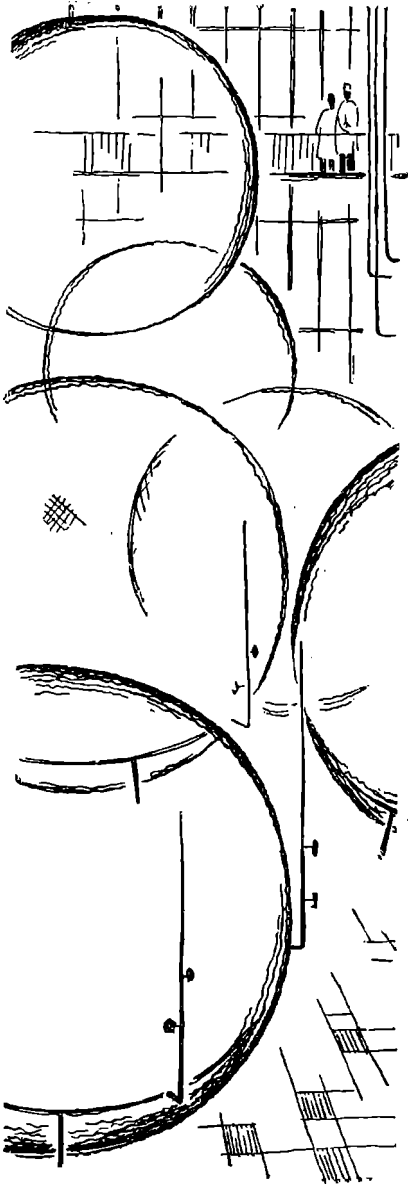
«Алло, психи, что у меня в кулаке?»

Если разжать, если перестать размахивать в бесконечных
говорильнях, то у иных может оказаться, что и ничего.

А у тебя — твое достоинство. Оно никому не угрожает, за-
то наверняка спасает. Я не знаю твоих больных. Не знаю,
скольким ты вернула жизнь. Но тебя я узнала. В жизнестой-
кость твою поверила. В правильность выбора — тоже.



**ВАШЕ МЕСТО...
СВОБОДНО**



В школе Петю называли «везунком», в институте «удачником», после, на работе, «светлой головой». А для меня он был незамечимый сосед Петька, который может починить проводку, настроить приемник, посидеть с малышом (с Петей сын никогда не плачет), сварить самый вкусный кофе и даже подкинуть идею очерка в моменты рабочего кризиса.

Другая соседка, Мария Ильинична, озабоченная проблемами брака не меньше, чем выращиванием корнеплодов (она работала агрономом в министерстве), с грустью говорила: «Счастливая будет девушка, которую вы, Петенька, полюбите...»

Так и случилось — она была счастливая.

Мужская половина квартиры считала своим долгом предупредить Петю:

— Избалуеть ты ее. Смотри, сядет она тебе на шею.

— Люди, вы ничего не понимаете. Я ее люблю... — отвечал Петр и был прав.

Ну конечно, он был «удачником» — попал в тот институт, какой хотел. А в аспирантуре — к тому руководителю, которого сам себе выбрал еще на третьем курсе, когда тот понятия не имел о существовании некой «светлой головы» по имени Петя.

Правда (я забыла сказать), что еще в школе он пропадал в кружках, библиотеках, читальнях. Что по ночам в его комнате до глубокой ночи горел свет и под тихие звуки джаза («Музыка, — уверял Петя, — дисциплинирует мой мозг, настраивает его на нужную волну») он что-то вычерчивал, собирал приемники, усовершенствовал чужие магнитофоны. А позже, в институте, чтобы не сидеть на шее родителей, брал технические переводы, делал иллюстрации для журнала «Знание — сила», составлял тексты уроков физики для телевидения...

В те времена я часто задерживалась допоздна на кухне. Петя появлялся где-нибудь за полночь с кофейником и громким шепотом возвещал:

— А не поговорить ли нам «за жизнь»?

«За жизнь» говорить всегда хорошо, особенно зимой на теплой кухне, после утомительного дня.

Это были часы, как говорят любители скачек, «большого дерби». Петя прищипывал свою фантазию и галопом мчался вперед — через годы, препятствия, искусственные и естественные, победы и поражения — к своему главному призу: своей лаборатории, которой он, молодой профессор, доктор технических наук, будет когда-нибудь руководить.

Не подумайте, что успех был для него самоцелью. Не к славе и регалиям он стремился. Просто он знал, что хочет, на что способен, и не намерен был терять время попусту.

Оджды он пришел на кухню и долго сидел молча, спо-

койно наблюдая, как выкипает кофе, что свидетельствовало о его крайне тяжелом душевном состоянии.

— Что-нибудь случилось? — не выдержала я.

— Ничего... «А между тем случилось очень многое...» Опп молодой ученый отказался защищать совсем готовую диссертацию.

— Он что — заболел?

— Нет, это мы больны, потому что моя реакция, представь себе, была точно такой же. А сейчас я понял: он фантастически здоров, мало кто может похвастаться таким замечательным здоровьем. Понимаешь, он решил — *сам* решил, — что мог бы сделать лучше... Кандидата ему все равно бы дали, но ему, видишь ли, стыдно... Стыдно идти в науку налегке. Над ним смеются: «Конченный, говорят, этот Бегункин человек». А что, если он «начинающий»? Ты скажи, литератор, разве это не мужество — в двадцать восемь стать «начинающим», а! Не побояться отказаться от сделанного, потому что сделал не так, не по высшей мерке, и начать все сначала?! И не какой он не скромный — очень даже хорошо знает себе цену. В том-то и дело. Он знает, что может больше, и не хочет предлагать мало, а получать много. Нет, он орел, этот Бегункин. Он просто выдающийся человек...

На следующий день Петя постучался к нам в комнату, заявив, что у него есть сообщение чрезвычайной важности.

— Вот, — сказал он, выкладывая передо мной какие-то выписки, — читай и запоминай. Журналисту тоже не грех что-то знать, а не только захлебываться эмоциями. И тебе (это уже относилось к моему годовалому сыну), и тебе, младенец, будет полезно послушать, а вдруг ты гений и все поймешь. «Высокое самоуважение, — медленно, с выражением читал Петя, — вовсе не означает, что человек ставит себя выше всех остальных, считает пределом совершенства. Нет, это означает, что личность уважает себя, положительно к себе относится... И (теперь самое главное) чем выше ее требовательность к самой себе, тем больше должны быть достижения, чтобы такой чело-

век чувствовал себя удовлетворенным... Что, кстати, не имеет ничего общего с болезненной магией величия».

А еще через неделю на дверях Петькиной комнаты появился плакат, на котором была выписана главная формула его жизни: «Не удовлетворяйтесь созерцанием — действуйте!»

— Это выпад против меня? — поинтересовалась я.

— Нет, за тебя. И за себя. Хватит разговоры разговаривать. Дело надо делать. Дело...

Должна сказать, что он его делал. В двадцать семь лет он уже твердо стоял на ногах.

Он, кажется, точно вписался в образ человека, покоряющего судьбу, но отнюдь не покорного ей.

Мы давно живем в разных, отдаленных друг от друга районах, и лишь поздние телефонные звонки («Прости, старушечья, не заметил, что уже час ночи») напоминают мне о наших разговорах на притихшей, остывшей от жарева и варева ночной кухне.

Конечно, они ничего не решали, эти необязательные исповеди, но как-то незаметно помогали нам жить.

Однажды он позволил мне и, как всегда, без длинных предисловий, типа: «Как жизнь, здоровье?..» — сообщил, что у него есть новость чрезвычайной важности.

— Слыхала? Александр отказался от гастрольной поездки по Европе. Говорит, что не в форме. Мы его уговаривали — твоя артистичность, твой профессиональный уровень...

— А он что?

— А он заявляет, что не хочет его снижать.

— Чепуха, все равно успех обеспечен... Уж сколько раз так было, а потом все кончалось триумфом...

— Нет, матушка, успех еще никого не обеспечил, — неожиданно грустно ответил Петя. — Стоит только начать падать...

— Падать? Когда его носят на руках?!

— Этого-то он и боится. Когда ты наверху, очень трудно почувствовать, что летишь вниз. А потом... ну, когда все заметят, будет поздно. И мы первые тогда скажем бывшему ге-

пиальному пианисту: «проигрался», «исхалтурился». И будем безжалостны. И быстро забудем, что ведь он сам хотел вовремя остановиться...

Пожалуй, опять прав был мой сосед Петя...

Мы ведь восхищаемся футболистом, который, получив травму, не покидает ответственный матч. Восхищаемся боксером, который, теряя силы, все-таки доводит бой до конца. Я помню, как в последний раз играл царя Федора знаменитый московский актер Добронравов. Только потом из газет мы, зрители, узнали, что уже во втором акте ему стало плохо. Но он довел спектакль до конца. Он упал в тот момент, когда опустился занавес...

Эта защита (порой героическая) своего профессионального достоинства диктует завышенные нормы ответственности. Дает человеку «второе дыхание», которое не отпускает с поля боя, рабочей площадки, беговой дорожки, от стола, от приборов, от плачущего всю ночь напролет больного ребенка... Не отпускает, держит и помогает выдержать — вот что главное.

Так почему же мы так часто не восхищаемся, а осуждаем того, кому достоинство запрещает преждевременный старт, не пускает в бой, а готовит к бою?

Потом Петя надолго исчез. До меня доходили слухи, что он хандрит, что у него не клеится работа, что он чем-то увлечен, но объект его увлечения никому не известен. Когда он наконец появился, я не замедлила пошутить над его таинственной страстью, но вместо ответной шутки услышала историю о «Макаке» (его сокурснике Максе), который молодец, потому что знает свое место.

— Все его жалели: бедный Макака застрял в цехе. Ни черта он не застрял — выдвинули, посадили на почетное кресло в министерстве. А он поработал-поработал и стал обратно проситься. И не потому, что не получалось или начальническое кресло давило, а потому, что не оно — его место. Забавно все это... — почему-то грустно заключил Петя.

— Нет, Петр, так дело не пойдет! — разозлилась я. — Все

эти истории, которые ты мне рассказываешь, действительно очень увлекательны и поучительны. Но почему с такой болью? С такой личной заинтересованностью? У тебя-то все «о'кей». Ты живешь, как задумал, — все совпадает, никаких (и хорошо!) отклонений от программы. Сам ведь, помнишь, говорил: «Дело надо делать», и ты его делаешь...

— Плохо делаю, — кажется, впервые я увидела, что оп может краснеть, — очень плохо. Я, любя моя, не на своем месте.

— Поздравляю. На сей раз болен ты.

— Да, болен и не хочу лечиться. Я болен словом. Я испиываю кальку рассказами, я больше не считаю цифры, я подбираю слова. Они преследуют меня, не дают ни на чем другом сосредоточиться, забирают рабочее время, лишают друзей, покой...

— А может быть...

— А может быть, я графоман — это ты хотела сказать? Не исключено. Но я больше ни о чем не могу думать. В таком состоянии продолжать работать — значит совершать откровенный грабеж. Меня не уволят. Будут принимать это «еле-дело», за которое я получаю приличные деньги. Свыкнутся, смирятся — не спорю. Я не смирюсь: двойная жизнь не для меня. Пусть там, на моей бумаге, еще целипа, а здесь распаханное поле деятельности и недеятельности, и успеха, и всяких благ. Но ведь надо попробовать: в тридцать это тоже поздно, но еще можно, в сорок — инерция возьмет верх — я никуда не уйду, я буду до конца дней занимать не свое место...

Он все-таки ушел. Произошло это задолго до того дня, когда в толстом журнале, быть может, напечатают его повесть, а в издательстве выйдет его книга рассказов, а пресса объявит читателю, что в литературу пришел новый талант. И те, кто вчера называл его безумцем, кто сегодня при встрече с ним «сверлит» пальцем дырку во лбу: мол, ненормальный ты, Петр, — бросить все без всякого реального шанса на выигрыш, — все эти люди, быть может, когда-нибудь повторят свое обычное: «Удачливый ты малый, Петр...» Но все еще может быть и

по-другому: и отчаяние, и неудачи, и жесткая критика, и творческий кризис... Но будет это на том месте, которое он считает единственно своим. Он пришел к нему поздно. Но ведь это лучше, чем никогда.

* * *

Быть на своем месте... На языке обывателя это понятие трактуется однозначно: не лезть, куда не просят, не говорить, когда не спрашивают, не высказывать, не перебивать... Короче, быть на своем — незаметном, невидном, никаком — месте.

Если иметь в виду скромность, тактичность, умение держать себя в обществе, то все эти «перебивы», «наскоки» действительно ни к чему. Но в требование незаметности, в пожелание «не лезть», «не обращать на себя внимания» вкладывается не столько потребность оградить человека от посягательств на него, сколько оградить его от требований к самому себе. Поставить на такое место, где он и сам затеряется и его потеряют. Обывателю спокойней, удобней жить не в мире, а на приусадебном участке. Не открыто, а за высоким забором. Не в полный голос, а шепотом, потому что он все время боится, что его услышат, к чему-нибудь привлекут, о чем-то спросят. А он хочет только одного, чтобы его не трогали, оставили в покое. Ему удобней быть в тени, на задворках жизни, нежели на передовой...

Самовыявление и самовыражение он глушит, как сигналы бедствия, по которым его могут опознать и включить в сеть большой жизни, которая пугает масштабами и даров и своих требований. (Впрочем, есть категория активных обывателей, которые ничто и, главное, никого не оставляют без внимания.) Вот почему для обывателя талант не идет вперед, а «лезет», не говорит свое слово, а обрывает чужое, не стремится занять свое место, а выживает его, обывателя, с насиженных, утрамбованных мест.

Определить в жизни свое место — значит выбрать в громадном множестве возможностей и форм деятельности те, которые

максимально соответствовали бы твоей индивидуальности. В наш век очень велик выбор этих возможностей, и решать должен сам человек — чем скорей, тем лучше. Полезнее для него, выгоднее для общества. Но все же многие талантливые люди не сразу находили себя. И если в конце концов находили эту оптимальную точку для приложения своих способностей, общество не только не терпело убытки от их поисков, а, напротив, получало колоссальную «прибыль». Важно, наверное, как можно раньше начать анализировать себя, проверять, «применять» эти свои возможности.

Только мы сами можем решить: кто мы и на что способны. Надо лишь не бояться настроить свой слух на собственную волну, не бежать от себя, а тихо пробиваться к себе. Я написала «тихо», потому что в юности мы порой не говорим, а «закрикиваем» себя, не прислушиваемся к себе, а заглушаем легкомысленным: «все обойдется, все впереди». Ох, уж это спасительное «впереди», которое так быстро и незаметно остается «позади». «Завтра» все спит — и непрочитанную книгу, и отложенное дело, и несказанное слово, и не оказанную вовремя помощь — все оправдывает, зачеркнет за давностью, не сделанное сегодня — «завтра».

Только одного не сможет «завтра» — вернуть навек упущенное «сегодня».

Но где же грань между самоосознанием и самообольщением?

Между самостоятельностью и несостоятельностью?

Ее проведет, естественно, общественное мнение. Людям в конце концов решать — способен или не способен. Но сначала надо дать сигналы, по которым будет вычислено (пусть даже с помощью машины) это решение. Самому идти на поиски тех даров, которые заложены в каждом. Тех золотых россыпей, которые человек разрабатывает в себе всю жизнь — будь то слесарь, кукольных дел мастер, настройщик роялей или гениальный пианист.

Есть такая песенка: «Кто ищет, тот всегда найдет». Я бы

сказала, что тот, кто ищет, может, по крайней мере, надеяться, что найдет.

...Очень способная актриса долгое время была в театре неприметной, рядовой. Режиссер «не видел» ее в трагических ролях, а она чувствовала в себе именно трагическую актрису. Заблуждение? Предположим, но это «заблуждение» не разрушало ее, не приводило в отчаяние, а давало силы для длительной и упорной работы. Годы прошли, прежде чем однажды (помог случай) ей разрешили подменить в «Медее» заболевшую актрису. И она победила.

Случай мог и не представиться. И все-таки убежденность наполняла ее жизнь великим смыслом, не позволяла опускаться до зависти, сведения счетов, сплетен и обид.

Спрос не всегда соответствует предложению. Растеряться, озлобиться, потерять веру очень легко. Но злоба разрушает. А достоинство помогает сохраниться и не признать банкротство, задолго до его наступления. Не пустить с молотка накопления своей личности, которые потом пойдут на услуги предприимчивой бездарности.

Но всегда ли обеспечен выигрыш? Всегда ли правы те, кто предпочитал обеспеченному месту (живем-то, мол, один раз!) свое, часто не обеспеченное ничем, кроме внутренней убежденности?

Жизнь неумолимо смывает следы одиоочки, отклонившегося от протоптанной дороги, затерявшейся вдали от пройденного всеми пути, если следы эти случайны, если они не потянут за собой другие и не образуют в конце концов сначала тропинку, а потом и широкую тропу, притягательную и доступную потомкам. Потери неизбежны. Поиск всегда оставляет пустые места. И все же искать надо. И если руководило личностью не упрямство, а упорство, если маячил перед ним не свет в собственном окошке, а зов мысли и таланта, способные озарить пусть не человечество, а десять — сто человек, можно только преклоняться перед последовательностью этой личности, ее бесстрашным блужданием в потемках во имя прозрения других.

Помню, как еще в юности мы пошли с Петей в театр и, по обыкновению, опоздали.

— Ваше место занято,— сердито сказал контролер.— Надо было приходиться вовремя.

— Мое? — улыбнулся Петр.— Нет, мое еще свободно... Только я пока не знаю, где оно.

Контролер пожал плечами.

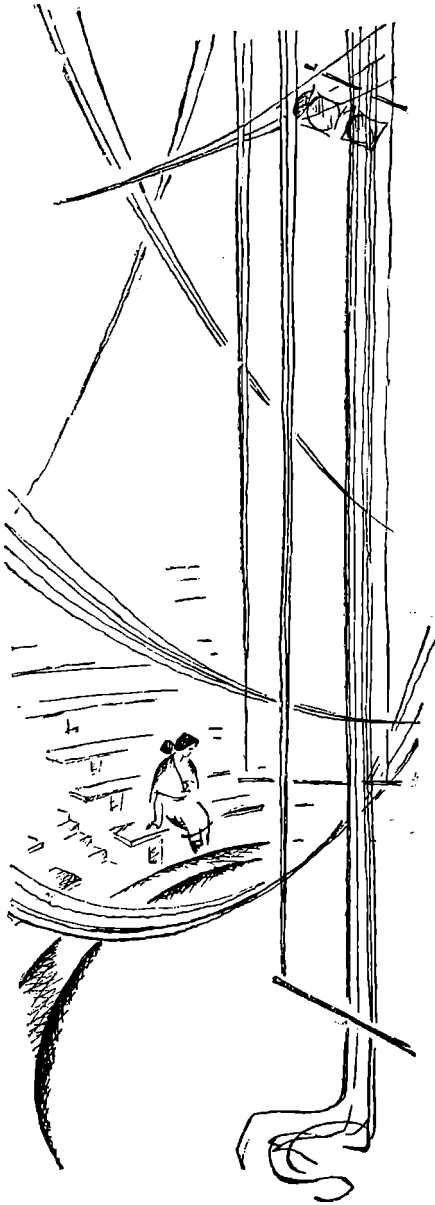
Прозвенел звонок. В зале погас свет, и мы остались стоять у входа.

И вдруг мне показалось, что вот сейчас этот покашливающий, дошептывающий последние слова зал обернется к соседу моему, Петьке, и... услышит:

«Быть? Или не быть?»

Вот, люди, в чем вопрос...





По улицам Ашхабада шел медведь. Чернокудрый молодец в атласной красной рубахе небрежно вел его за поводок, будто это был не медведь, а какая-нибудь болонка или изнеженный, сонный пудель. Мальчишки, свистя и улюлюкая, сопровождали зверя в его экскурсии по городу, а медведь смотрел на них устало и без любопытства. Он был работающий мишка, честный труженик цирка «Шапито», и туристская прогулка доставляла ему, по-видимому, мало удовольствия.

Да, в Ашхабад приехал цирк. Разбил шатер на рыночной площади и по вечерам развлекал благодарных зрителей тройным

сальто под полотняным куполом и медвежьим ленивым вальсом под пиликанье скрипки и надрывные аккорды старенького рояля.

После представления актеры собирались в душном гостиничном ресторане и в складчину пировали, запивая разбухшие, проперченные манты (сибирские пельмени на восточный лад) местным «Московским» пивом.

Там впервые увидела я русоволосую, чуть располневшую женщину лет сорока, с голубыми весенними глазами на бледном лице. О таких обычно говорят: «со следами былой красоты».

Но и сейчас она была бы красивой, если бы не выглядела такой усталой и больной.

Московский балетмейстер, которого пригласили в Апхабад ставить «Золушку», увидев эту неразговорчивую, всегда мягко улыбающуюся женщину, воскликнул:

— Бог мой, так ведь это цыганка Маня!

— Цыганка? Но почему? — удивилась я. — По-моему, она на редкость законченный русский тип.

— Да, по национальности-то она русская. Но в театре никто иначе как цыганкой ее не называл. Если бы вы только знали, какая она была танцовщица! Ее испанские и цыганские танцы вызывали у зрителя не то что восхищение, а какой-то, я бы сказал, ритуальный экстаз. Балетоманы приходили смотреть специально на нее, по залу пробегал недовольный шумок, когда Марию неожиданно заменяли. На премьерях ее забрасывали цветами, совсем как наших классичек — примадонн, что вызывало у некоторых легкую досаду. Э, да что там говорить — она была богиня характерного танца, но особенно цыганского! Такой я больше никогда не видел.

— Но почему «была»? Что с ней случилось? Как она оказалась здесь, среди актеров областного цирка?

— История удивительная, почти по Пушкину, только она не Земфира, а, скорее, Алеко. Ее увела из театра любовь. Бросила все — балет, Москву, успех — и... ушла. Правда, не с кра-

савцем цыганом, что вполне бы укладывалось в сюжет, а с печальным, изможденным бродячей жизнью и неизлечимой болезнью руководителем периферийного цирка. В театре не хотели этого понять. Или не могли? Сначала посмеивались, потом жалели, а скоро и совсем забыли. Незаменимых, как говорится, нет, хотя такой, как она, тоже больше нет. Представьте себе, с тех пор я ее не встречал. Не знал, где она, что с ней. И надо же, вдруг неожиданно встретились! И где? За тысячу верст от Москвы.

Когда знакомый мой подошел к ней, она долго, не отрываясь, смотрела на него, как будто перед ней медленно проплывали видения прошлого и она боялась испугнуть их, прервать, как боятся нарушить пробуждением чудный сон. Потом медленно поднялась и встала, опустив голову, как стоят перед учителем напроказившие ученики.

— Значит, жива?

— Жива, Алексей, жива.

— Болееешь?

— Бывает. Сердце. Помнишь, еще тогда...

— Тогда тебе было двадцать, Маня. И помню я совсем, совсем другое...

— Я тоже все помню.

— Не жалеешь?

— Нет. Вижу, не веришь. Но это правда.

— Но разве нельзя было...

— Нет, Алеша, нельзя. Ты сам говорил нам: «Искусству нужна вся любовь, на которую вы только способны...» На двоих меня бы не хватило.

— А... Где он, твой муж? Познакомь нас.

— Рада бы, но поздно. Поздно, Алеша. Муж мой умер пять лет назад. Умер в жутких мучениях. Но, кажется, больше всего страдал он за меня. До последней минуты спрашивал: «Что с тобой теперь будет?» А со мной, как видишь, ничего — я продолжаю его дело... Вот руковожу этим маленьким бродячим коллективом...

...А вечером я увидела, как она танцует. Не на сцене, не в кино, а в квадратном гостиничном номере между кроватью, умывальником и платяным шкафом. Алексей Иванович пригласил ее отметить встречу, которую перенесли в мой номер по случаю его уютности — на стене висел роскошный туркменский ковер ручной работы.

В резиновых сапожках, в толстом вязаном платье, она зябко поеживалась от сырости и мелкой дроби февральского сыпучего дождя.

Сначала они очень долго говорили, перебивая, переспрашивая друг друга. О ее скитаниях по стране, о французском балете и современных болезнях медведей, о русской классичности англичан и каких-то братьях Сумароковых, которые под куполом цирка ходят на голове. О том, как по-прежнему божественна балерина Т. и как стареет ее всегдашняя любимица П.

— Быстро это все, очень быстро. Больно короток, Алеша, отпущенный балерине срок.

— А ты и его не выдержала,— вздохнул Алексей Иванович, невольно окидывая взглядом когда-то осиную, с кулачок (как он говорил), гибкую талию «цыганки» Мани.

А теперь это была просто полная женщина — милая, домашняя, уютная.

Представить ее извивающейся в танце, изогнутой, юлой кружащейся по сцене, было невозможно.

— Теперь, конечно, трудно поверить,— сказала она спокойно, без театральной горечи и надлома.— А впрочем... Ну-ка, Алеша, напой что-нибудь, хотя бы обыкновенную «цыганочку».

Спустив на плечи клетчатый платок, еле заметно поводя плечами, поднялась она с дивана. Осторожно, будто на ощупь, прошла по комнате, смущенно улыбаясь и как бы извиняясь за свою неожиданную смелость. Но уже на втором круге она забыла о нас.

Нельзя сказать, что ее закружил вихрь пляски. Что по ма-

новению волшебной палочки она снова стала на наших глазах стремительной, огненной цыганочкой. Она двигалась спокойно и плавно, как парус на притихшей глади предзакатной Волги.

Руки ее то взлетали порывисто вверх, то беспомощно падали, словно крылья прекрасной раненой птицы. И лицо озарял не страстный призыв, а, скорее, задумчивая полуулыбка дeвы Марии, сдержанной кисти русского иконописца. Все это мало походило на привычную «цыганочку». Но это был ее танец, ее исповедь.

Это была ее жизнь, которую она не оплакивала, а с тихим достоинством принесла в этот тесный гостиничный номер на суд своего учителя.

— Прости меня,— сказал Алексей Иванович,— если можешь, прости...

— Помилуй, Алешенька, за что? — искренне удивилась «цыганка» Маня.

— За то, что вчера пожалел тебя. Что искал слова сочувствия... А ты в них совершенно не нуждаешься. Победителей не жалеют.

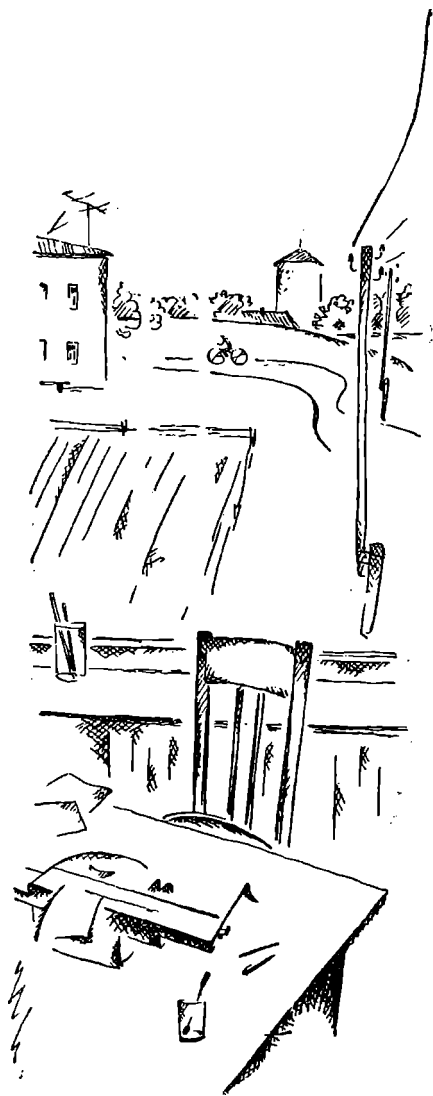
— Ну какой я победитель?! Не смейся. Я-то действительно ни о чем не жалею. А вот ты наверняка про себя думаешь: «Эх, какая была танцовщица эта «цыганка» Маня! И так вот, ни за что ни про что, загубила свой талант...»

— Нет, Маня, ты загубила свою карьеру — это правда. Но талант твой остался. Только он стал богаче, значительней, человечней. Ему не нужны бурные аплодисменты. Он живет и помогает жить тебе, а главное, уверен,— другим. Вот мне он сегодня помог понять вещь простую, но, наверное, самую главную — от себя не убежишь. Ты все та же, только во сто краг лучше...

С тех пор я никогда больше не встречала Марию. Но когда одолевают сомнения, когда теряешься и теряешь, я стараюсь

представить себе цирк в Ашхабаде, тройное сальто веселых братьев Фок, неуклюжего мишку на утренней прогулке и прекрасную русскую женщину — «цыганку» Маню.





...**Я** хотела встретить его в пути. Трястись с ним в обязательном для таких случаев «газике», бодрствовать в прокуренных местах поездов, качаться на волнах, мерзнуть на островах. Я бы хотела, чтобы он, мой будущий герой, был неуловимым, неусидчивым... Чтобы вечный зуд беспокойства не давал ему ни минуты передышки. Чтобы его видели везде — в совхозах, на заводах, в лесах, над землей, под водой. В общем, чтобы он был настоящим, наипичнейшим журналистом. В своих мечтах я зашла так далеко, что для большей увлекательности и остроты сюжета придумала своему ге-

рою противников, которые его не понимают, гасят его пыл, «сбивают» энергию.

Но он был не таким. Хотя на первый взгляд очень похожим. Казалось, его прототипы (или он сам — прототип?) блуждают по коротким повестям и полнометражным фильмам. Они носят такие же полуспортивные куртки и дымчатые очки в черной рамке модного прямоугольника. И говорят «старик». И говорят остро и быстро. И говорят значительно и волево. И пьют, как он, крепкий чай (или кофе). И «болеют» за «Динамо» (или «Спартак»). И всегда мальчишки, хотя им давно не двадцать.

«Бодрячок этот Садиков,— подумала я через десять минут после нашего знакомства.— Умен, остер, но уж больно типичен...»

— Вадим? Садиков? Типичен?! Ну что вы — совсем наоборот. Не пьет, не курит и вообще однолюб.— Это мнение женщин областной газеты, куда я приехала за своим героем.

— Садиков? Очень способный журналист. В работе педантичен, но справедлив. Хорошо пишет. Много читает. В общем, он отличный парень, но... может быть, не очень характерен.— Это мнение старших товарищей, которые Садикова любят, печатают и ни в каком конфликте с ним не состоят.

— Обо мне? Писать? Да вы смеетесь. Я абсолютно не типичен.— Это уже говорит он сам.

Если считать, что биография молодого человека — обязательно котомка за плечами, тысячи пройденных километров, сон в бараках, любовь в походах,— то такой биографии у Садикова и правда нет. Более того, думается, что она не обязательна. Думается, что представителю его поколения обязательно другое — образование и постоянное к нему стремление. Потребность дела и умение его выполнять.

Да, биография Садикова вроде бы никаких сюжетных коллизий подсказать не может. Учился в школе. Учился в университете. Был элементарно хорошим студентом и элементарно, по распределению, вернулся в свой родной город, который любит, хорошо знает и оставлять его, даже ради Москвы и Ленинграда

(а ему предлагали), не собирается. Он трудолюбив, способен, умен. Пожалуй, достаточно.

— Ну ладно,— сказал мне один сотрудник газеты.— Бог с ней, с биографией. Но есть приметы для журналиста и правда обязательные. Мне лично кажется, что настоящий журналист должен быть на переднем крае.

— А Садиков на каком?

— Садиков кабинетен, да и тематика у него... не самая ведущая.

Действительно, в том наборе тестов, по которым мы «угадываем» журналиста, быть на «переднем крае» — один из самых обязательных. Но только где его границы? Кто очертил его пределы? Завод, стройка, колхоз. Там, где работа, где создаются материальные ценности, где «весомо, грубо, зримо» строится, куется, плавится наша жизнь. Но у переднего края всегда есть тыл, который обеспечивает «передовую» мозговой энергией, набирает для нее духовные силы. Этот, второй, но не менее важный «фронт» нашей мирной жизни требует своих бойцов. Глупо посылать на передовую ученого, работающего над изобретением нового орудия. Он нужней, он неоценимо полезней в тылу. Садиков — тыловой журналист. Его волнует тот внутренний мир человека, который в конечном итоге обеспечивает мир общественный. Не важно, какой материал он берет для своих исследований — книгу, фильм, спортивное состязание, театральную премьеру. Важно, что его интересует не столько, как сделано, а что, вернее, во имя чего. Какие нравственные открытия, какие человеческие приобретения актер, режиссер, спортсмен (да, да, спортсмен) утвердил своей игрой, фильмом, спортивным состязанием.

В одной своей статье Садиков вспоминает слова Леонида Леонова: «Художник тем значительней, чем шире его человеческие окрестности». Вот эти-то «окрестности» и стали его передним краем.

Я вернулась в Москву, довольная своим открытием еще одного интересного человека, каких, наверно, сотни тысяч.

Написала о нем большой очерк и название, по-моему, удачное придумала — «Нетипичный» журналист». И уже собралась было отнести его в редакцию, как вдруг — звонок из того города и просьба задержать статью о Садикове, потому что факты не подтвердились.

— Какие факты? О нем?

— Почему о нем? Об учителе Кошелеве. Садиков написал о Кошелеве фельетон, мы его напечатали, а теперь скандал — факты не подтвердились.

— Этого не может быть, — чуть не расплакалась я. — Ведь он очень ответственный человек. Вы сами говорили: педант и вообще сто раз отмерит, один — отрежет.

— Всё может быть, коллега, если пренебречь фактом во имя стройности и завершенности собственных мыслей.

— Ничего не понимаю. Садиков — и ложь. Это невозможно.

— Не ложь, а эмоциональный захлест во имя высшей правды, ну, той нравственной проблемы, которую он перед собой поставил... А то, что при этом пострадал один человек...

— Садикову дорог и один, и полчеловека... Садиков не может опозорить невинного даже во имя прозрения виновных. Тут что-то не так...

Звоню ему домой. Сказали — уехал в командировку, будет не скоро. Снова звоню в редакцию — узнать, извинился ли он перед тем учителем. Сказали, что не знают. Газета свои извинения принесла, Садиков получил выговор, а все остальное — его личное дело.

Я написала ему письмо — одно, второе... Ответа нет. Выходит, я сама допустила профессиональную ошибку, не разобралась в человеке, который... Который что? Ну что он сделал? В конце концов, в любом деле возможна накладка. Но что, если он не то что не понимает свой промах, а не желает его публично признать? Признать слабость, что, как известно, делает человека во сто крат сильнее. Что, если он... Я тоже журналист, и никуда мне не деться от неслучайных ассоциаций, которые вяжутся одна к другой, складываются в проблему и требуют

осмысления, выводов... А что, если и он, как тот староста из одной московской школы... Тот староста, который обыскал ни в чем не повинных ребят, а потом...

Это было в восьмом классе одной московской школы. У преподавательницы английского языка во время перемены (она оставила сумку на столе) украли сумочку для косметики. Тогда староста класса не нашел ничего лучшего, как учинить в классе поголовный обыск. Сумочку не обнаружили. А через несколько дней ее принес с повинной маляр, который красил в коридоре стены.

— Делайте что хотите. Узнал, что ребят обыскивали, — стыдно стало, противно, да и зарабатывать я хорошо. Черт меня попутал — плохо лежала, вот я и взял...

Оскорбленные и униженные подозрением, ребята объявили старосте бойкот.

Когда я пришла в ту школу, староста встретил меня насупленно и хмуρο. Он не сказал: «Я был не прав». Напротив, упрямо твердил:

— Я выполнял свой долг...

— Но чем он был продиктован?

— Как — чем? Должностью. Не понимаете? Я староста.

Сколько я ни убеждала его, что служебный долг запрещает взимать пошлины с человеческих ценностей, что даже признание в преступлении не освобождает правосудие от презумпции невиновности. Это самое гуманное право, когда исходят не из вины человека, а ее отсутствия... Староста меня не слышал.

— Я староста, я был обязан... В конце концов, ничего с нами не случилось...

Да, ничего не случилось — как жили, так и живут. Какие прически носили, такие и носят. Не заболели, не схватили от огорчения грипп. А что-то надломилось, какая-то пакость осталась, какой-то привкус душевной горечи мешает им быть прежними или забыть прежнее. И никто сегодня не может предсказать, как отзовется на личности этот незаметный и не очень мучительный урон, впервые нанесенный их достоинству.

Ну, а с этим старостой что случилось? Тоже вроде бы ничего страшного. Сегодня обиделись, завтра простят. Сегодня к нему корреспондент пожаловал, завтра, может, он сам того корреспондента вызовет на диспут или торжественную линейку, чтобы поглядел товарищ газетчик, как староста выполняет свой долг. И плохого он ничего не сделал — хотел уличить вора и вернуть учительнице сумку. А то, что при этом всех подозревал и всех, хоть на секунду, сделал преступниками, — так ведь это не преступление, а добросовестное выполнение своих обязанностей. Служебный долг, так сказать, честь мундира.

Но кто тут кому диктовал — мундир человеку или человек мундиру? Кто кого спасал?

Понятие «честь мундира» вполне конкретное и благородное. Оно требует соответствия поступков званию, уважения к своим профессиональным обязанностям. Спасение мундира во имя видимости его чистоты — еще не спасение чести. Напротив, если, запятив парадный костюм, не побояться пропустить его сквозь фильтр общественного мнения, то можно сохранить незапятнанной честь и при этом не потерять, а обрести достоинство.

И еще я вспомнила, что у психологов есть такое понятие — рационализация. Если перевести научный язык на общедоступный, то рационализация — это защитный механизм, который помогает на чисто лишенное смысла поведение объяснять вполне рациональными причинами. Староста оклеветал фактически весь класс. При этом он ссылается на «интересы дела», которые требовали на ком-то (все равно на ком) показать пример.

Люди, лишенные достоинства, обычно предпочитают закрываться от окружающих, показывать им свое ложное лицо. Но это не Садиков. Он не «кажется», он «есть». Ему не нужно бояться своей подлинной сущности — скрывать свою слабость разоблачением «слабости» других, отводить огонь от себя. Тогда почему, почему он молчит?

Злая память и тут готовила мне пример к случаю. Напомнила историю, до такой степени похожую, что я поступила бы не-

честно, отмахнувшись от нее. Тоже журналист и тоже фельетон, факты которого не подтвердились. Многочисленные комиссии, расследования, экспертизы установили полную несостоятельность приведенных в статье обвинений (кстати, таких, после которых человеку ничего не остается делать, как подавать в отставку). Не будем подсчитывать материальный ущерб (годовое расследование), тем более моральный — медицина не восстанавливает надломленную личность. Но вот обидчик...

Прошло уже несколько лет, но он не теряет надежды отстоять «честь мундира» — не доказать, а доконать. Не разубедить, а разоблачить. Он и меня принял как своего потенциального врага. И меня на всякий случай так выверил взглядом, как будто мысленно снимал отпечатки пальцев и запоминал характерные (для опознания) черты...

— И вы по тому делу?

— Нет,— отвечаю,— по-другому.— А сама думаю, нет ли за мной какого греха, что он так впился в меня глазами.

— По-другому так по-другому. А та папочка, между прочим, у меня в ящичке хранится. Я еще к ней вернусь...

И вернется. Страшно подумать, но вернется.

Не он ли тот староста, который учинил обыск своих же товарищей, а потом никак не мог понять, чего, собственно, от него хотят? Не он ли тот, который ударил во дворе слабого, а когда его пристыдили, злобно ворчал: «Я ему покажу, я ему задам, он у меня еще получит...» Не он ли вырос и написал анонимку на того, кто его уличил, и справедливо, в подлости... Он, его двойники, его однородные братья, готовые опорочить другого, лишь бы незапятнанным висел на плечиках парадный костюм.

Одного не учитывает его владелец — лицо и душа неотделимы. Изъяны чести рано или поздно проступят сквозь толстое сукно мундира... Первый, самый суровый приговор вынесет совесть. А может, и не вынесет. Может, приклеится она к мундиру, и мундир станет кожей, и не всегда шагреневой. Не всегда вбирающей и впитывающей в себя недостойные поступки сво-

его владельца, чтобы засвидетельствовать когда-нибудь его вину. Трудно все это. Трудно не верить собственным глазам. Не принимать лесть за правду, а мундир — за честь его носить.

Трудно было и мне отделаться от всех этих мыслей, не отказать от своего героя, не пойти на поводу у совпадений, не стать самой тем уязвленным журналистом, которого, видите ли, обманули. Не он — себя, а «они» — его, и теперь (во имя собственной реабилитации) ничего не остается делать, как рассказать о Садикове — Тартюфе, который всех одурачил, а на самом деле... Впрочем, может, это совсем не трудный путь, а как раз самый простой? Но как же тогда его прекрасная мысль о сохранении в себе себя? Его скромность и профессиональное достоинство? Его... Неужели все — видимость, а сущность — в этом оскорбленном молчании оскорбителя, в нежелании признать свою неправоту во имя... Во имя чего?

* * *

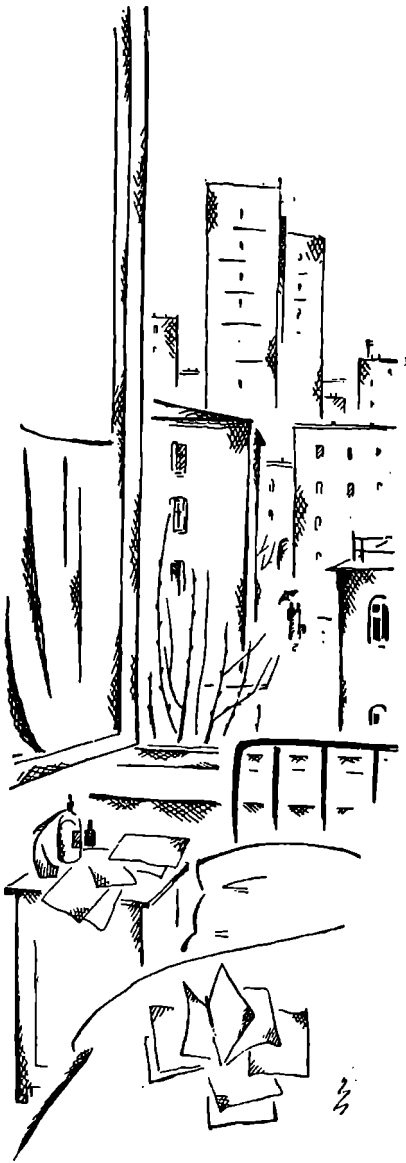
...Прошел месяц. Редакция потеряла надежду получить моего «Нетипичного» журналиста». Но ставить точку было нельзя. Я и сама, выходит, ошиблась: выдала представления (самые хорошие) о человеке за самого человека — это тоже своего рода клевета, которая наносит моральный урон не одному пострадавшему, а уже миллионам читателей. «Что делать?» — спрашивала я себя и ждала ответа. Он пришел — написанный, вопреки привычке, от руки.

«Представляю, какие неприятности у вас из-за меня. Я же говорил — обо мне писать не надо, я не типичен. Не послушались, теперь получайте по заслугам... Не сердитесь, все это так, печки-лавочки... А если серьезно, глупейшая получилась история, за которую мне полагалось куда больше, чем выговор. Потянула меня мысль, увлекла игра с ней, и факты казались лишь бликами на готовом полотне. Они были в моих руках, но вышли из чужих. Они хорошо «легли», но я забыл, что за ними стоит человек, живой, реальный, что тот же покорный мне факт

может убить наповал, если запустить его не по адресу. Короче, я слишком быстро поверил факту, и он обманул меня, что естественно и справедливо. Я извинился, признал ошибку, написал объяснительную записку. Все это я сделал. Вроде бы мне спокойно работать дальше, но... не могу. Мне стыдно смотреть в глаза — нет, не только ему, этому учителю Кошелеву, а всем своим читателям. Они ведь знали меня, верили... А теперь (мне кажется) не может ко мне быть доверия. Я не имею права говорить слова о правде, если сам солгал. О самоуважении, если сам лишился его. О честности, если сам поступил нечестно. Поймите, все это не чистоплюйство, не излишества мальчишеской гордости, это моя правда, мой порядок в собственной жизни, который я нарушил, и не могу делать вид, что ничего не произошло. Произошло — во мне, и никто не может снять с меня вину ни выговором, ни прощением, пока сам не почувствую, что мне больше не стыдно, что я снова обрел право на правду, на слово, на уважение к себе. Я хочу на время замолчать. Походить, поработать, подумать и... помолчать. Чтобы со временем мне было что сказать. Может, останусь в городе на заводе. Может, уеду куда-нибудь. Не знаю, но уверен, что это мне нужно, и моему будущему читателю — тоже...»



РЫЦАРЬ ПЕЧАЛЬНОГО ОПЫТА



Беда никогда не предупреждает о своем появлении — она налетает, как шквал, разрывает, размывает, выворачивает наизнанку. Как удержаться, за что ухватиться на этой омытой бедой палубе?

Память подскажет — за то, чем жил раньше.

Ну, а если ничего не было? Если вся жизнь — беда? Если тебе тридцать пять, а ты еще не начал жить, но давно начал умирать? Если прыгал на костылях, когда твои ровесники прыгали с вышки? Если ждал врачей, когда ждут любимых? Если засыпал с мыслью: лучше не просыпаться, когда обидно бывает тратить

время на сон? Что делать тогда? Где искать точку опоры, если не успел найти свое дело, свою любовь, свою семью?

Его звали Эрнст Шаталов. Он жил среди нас. Его никто не придумал, не создал образ для подражания, не окрестил по-смертно героем. Собственно, ничего ведь и не было. Его исключительность — не исключение. Людей, ставших инвалидами в молодости, — сотни. Больных, мужественно принимающих свою обреченность, тоже немало. И каждый из них достоин не строчек, а книг. Каждый, приговоренный к смерти и не желающий навязывать свою беду окружающим, достоин быть названным самыми высокими словами. Когда борются в одиночку — на постели, на больничной койке, в тишине пустой квартиры, в бессонных ночах, не оставляющих надежды на рассвет, — совершается величайший подвиг, потому что смерть требует от человека всей его жизни.

И здесь они — один на один.

Но важно, каким уходит человек — победителем или побежденным.

Ему было пятнадцать, когда болезнь навсегда вселилась в него, по частям, по кусочкам заглатывая жизнь. Вот умерла одна нога, вот другая. Вот тряпкой повисла рука... Вот... Можно поторопить смерть — незаметно, спиной сползти с подоконника.

Но мать права — это предательство. Можно покорно, тупо ждать конца — умереть задолго до самой смерти. Но и это предательство, сказал ему, еще школьнику, доктор Стенин. «Пока у тебя есть голова и сердце, ты обязан...»

Обязан? Но перед кем? Кому он нужен — не герой, не борец, не боец — просто инвалид, который все потерял, не успев ничего совершить?

Вот об этом, на мой взгляд, документальная повесть Владимира Амлинского «Жизнь Эрнста Шаталова».

Есть в повести отступление, которое вроде бы не имеет к ней прямого отношения. Это рассказ о человеке, который убил. Убил по пьянке мирного прохожего лишь потому, что показа-

лось, будто на нем его, убийцы, заячья шапка. И тот умер, так и не поняв — за что?

Умер...

«— А что это такое — ты понимаешь? — спрашивали потом убийцу.

— Кто же не знает, всякому ясно: сыграл в ящик, богу душу отдал».

И все.

На что замахнулся, чего лишил другого? Чего лишил при этом сам, пьяница и, протрезвев, не понял. Он искренне полагал, что совершил лишь *проступок* («Я исправлюсь»), и не понимал, что за этим стоит, чего она стоит — *одна человеческая жизнь*.

Для каждого человека (и это высшая справедливость природы) смерть — далекий мираж. Судьба Эрнста Шаталова не похожа на всех — смерть жила с ним рядом много лет. Он чувствовал ее холодное прикосновение, наблюдал за ее продвижением в собственном теле.

И все-таки не смерть победила — он.

Победил он, потому что до последнего дыхания сохранил живыми ум, сердце и душу. Об этом надо было бы писать в конце. Я с этого начинаю, потому что это и результат и одновременно посылка. Это тот круг, в котором замыкается личность, начавшая складываться в семье, «где не было разлада», и завершившая свое «построение» на высокой металлической кровати, где годами лежал «разлаженный организм», но цельный, целостный человек.

Именно личность Шаталова, пусть тогда еще неустойчивая, до конца несостоявшаяся, не позволила ему уступить себя смерти, требовала, обязывала понять, кто он такой, что же стоит за его жизнью?

Сколько раз казалось — ничего. Ему говорили: бери пример... Мересьев, Корчагин — с детства родные, любимые герои. Но ведь они уже что-то успели. Они многое поняли в жизни. Они знали, в чем ее смысл. Он не знал, но захотел узнать, в чем

смысл его, уже почти неживой, жизни. Захотел разобраться в этом странном непонятном «я», которое неотступно с тобой. Но не для того чтобы задержаться на нем (этого как раз больше всего боялся), а чтобы вырваться за его пределы. Чтобы извлечь из него те, пусть немногие, запасы энергии, которая еще способна дать и ему и людям положительный заряд.

Конечно, сам бы он не смог «оценить» свою жизнь. Ему помогали — книги, учебники, те бессмертные творения великих умов, которые вручают человеку золотой ключик от его собственного царства.

И тем не менее все это было потом: и книги, и учебники, и даже самые мудрые изречения. А сначала — люди, непрофессиональные педагоги, которые помогали ему своим опытом, своим выстраданным словом.

Это был прежде всего доктор Стенин, доктор, который приходил к нему не по должности, а по человеческой потребности — помогать.

Доктор Стенин был из тех людей, «кого неудачи не загоняют в грязь, а делают мудрее и выше». Он имел право сказать Эрику то, о чем, наверное, не раз думал, задыхаясь в приступах неизлечимой астмы: «Пока у тебя варят мозги, мир еще принадлежит тебе...»

Доктор Стенин и другие врачи — они годами боролись за каждый час его жизни. И те сестры, которые не ленлись повторять: «Ничего, миленький, потерпи малость». И было легче терпеть. И легче жить. И тот парень, который всегда приносил новые журналы и книги. И тот, который придумал технику для самообслуживания. И та женщина-редактор, которая присылала рукописи для рецензирования, чтобы Эрик чувствовал себя при деле.

Мать Эрика, которая всегда работала, — это она сказала ему о предательстве, когда он хотел покончить с собой.

Отец Эрика умер. Но ведь это он научил Эрика любить стихи. И младший брат, который с детства слышал: дай Эрику, накорми Эрика, убери за Эриком. И делал это не из жалости, не

по надоевшей обязанности, а как-то само собой, естественно и просто.

А как же иначе, ведь Эрик — «шеф», учитель. «Шеф» — он все понимает и так много знает. Не поучает, а вроде бы, многоходом, дает советы. Это «шеф» объяснил ему и доказал на собственном примере, что «главное в нашем деле — не трухать».

И, наконец, сам писатель, чьих посещений Эрик, по-видимому, ждал с нетерпением. Но только ли Эрик? Разве писатель приходил к нему по заданию редакции или по велению писательского долга — врачевать душу человеческую? Нет, он шел не навестить больного, а поговорить с ним. Больше того — послушать интересного, увлекательнейшего человека. Научиться у него.

Они были рядом с ним, эти неаттестованные педагоги. Они учили его жить, когда жить, казалось, было невозможно. Они незаметно делали так, что он начинал понимать свою нужность им, потому что не жалели его, а утверждали, не обременяли чуткостью, а ждали от него этой чуткости. И он понял, что полезен им не делами, на которые давно не способен, а самим фактом своего существования, который помогал этим людям проявить свои лучшие черты.

С их помощью он осознал и свою человеческую ценность, а значит, утвердил свое достоинство, перед которым (единственным) бессильны любые испытания, будь то горе, болезнь, слава или успех. Не будь этого, он бы не выдержал, то есть начал бы мучить других, мстить за свою беду, привередничать, мельчить.

Не выдержал бы чужого демонстративного здоровья, показательной заботливости, навязчивого сочувствия. Этих длинных дней в ожидании голосов, звонков, писем. Этой наглухо закрытой двери и отзвука шагов на лестнице, которые не к нему. Этих обязательных визитов, которые именно к нему. Он бы все это накапливал, подсчитывал, собирал по крохам: и этот забыл, и тот не позвонил, и врачи махнули на него рукой, и сестры, на-

верное, про себя думают: сам мучается и других мучает, уж лучше бы...

Что-то, конечно, казалось, мерещилось больному воображению. Но были и правда такие, которым его нездоровье представлялось дерзким вызовом их здоровью, чересчур прямым намеком на то, от чего никто не гарантирован. Они боялись чужой беды, потому что она нарушала их покой, наполняла его тревогой и страхом. Да, были в его жизни эти люди (соседи по коммунальной квартире), которые не скрывали, что больным не место в их здоровой жизни. Можно было бы опуститься до борьбы с ними, до ненависти, размотать, растратить свое достоинство в постоянных обидах. Но он понял: главное мужество человека в том, чтобы преодолеть вот такую мелкую трясину, выбраться из бытовых гнусностей, не поддаться соблазну карликовой войны, копеечного отчаяния.

И нам дóроги в Шаталове эта устойчивость духа, эта неприкосновенность личности, которые не позволили ему унизиться до озлобленности, опуститься до вечных счетов с жизнью, с судьбой, с теми, кого она не тронула, с теми, кто оказался равнодушным. Нет, он не то чтобы забыл натянутые улыбки, скороговорки товарищей: «Прости, некогда», гримасы сестер, поспешность некоторых педагогов. Он просто постарался задуматься, а почему они такие. Чего им недодали, чему недоучили, какие слова вовремя не сказали, а на каких вовремя не оборвали.

Имел ли он право думать о человеческом совершенстве? Да, имел, потому что сам преодолел в себе и страх, и неверие, и желание всех обвинить и всех уличить в своей беде. Он ведь тоже не сразу научился терпеть, ждать и прощать. Эрнст Шаталов — человек, который, повторяю, ничего великого не совершил (даже не великого, даже элементарного — по трудовой книжке), — имел право сказать о себе, что его «несчастный опыт тоже может пригодиться, хоть по капельке кого-нибудь просветить».

Он назвал свой опыт «несчастливым». А мне думается, что, во-

преки всей его трагичности, обреченности, вопреки всем страданиям, которые он узнал и пережил, опыт его счастливый. Да, счастливый, потому что мало кому в беде удастся не потерять, а обрести себя. Да разве только в беде? Разве мы, здоровые, порой вполне процветающие и благополучные, всегда находим в себе силы быть добрыми, великодушными и терпимыми? Разве не бежим зачастую от вопроса «кто ты?», вместо того чтобы идти ему навстречу. И еще сотни «разве?» и «почему?», от которых отмахиваемся как от назойливой мухи, сохраняя видимость равновесия и спокойствия в своем внутреннем мире, отворачиваясь от своего неотступно вопрошающего «я».

Опыт Шаталова полезен не тем, что учит жить больных. Он ставит нас один на один со своей совестью. Спрашивает (и требует ответа): «А ты, здоровый, ты всегда ли дорожишь своим достоинством, не сбиваешь ли свою человеческую ценность?»

Для вас это где-то очень, очень далеко — умирающий, больной...

Но вспомните свои мелкие неудачи, плохое, часто из-за ерунды, настроение. Тогда все кажется плохими. И все виноватыми. И все раздражают. И уже не обидчик, не друзья или родители, а весь мир к нам несправедлив.

— Ну ответь, расскажи: что с тобой?

— Ничего. Вы все равно меня не поймете.

Или пусть все страдают, ежели он впал в страдание. Пусть имеют к нему сочувствие. Кому-то весело?! И это в то время, когда ему грустно?! Кто-то занят своим делом, когда не клеится его... Жалуются, что у него болит, но ведь первым заболел он...

Все должны замереть, заглохнуть, когда у него что-то не получается. Когда его обидел учитель, ему забили в ворота гол. От него ушла любимая девушка...

Иной человек, что-то потеряв, бывает, тут же требует возмещения убытков. Свое плохое настроение или самочувствие старается распространить на окружающих — не страдать же в

одиночку. Ответственность за неудачи переложить на плечи близких — и становится легче.

Этот эгоизм здорового опасней, чем больного. Он полон сил и вечно неудовлетворенных потребностей. Ему все время мало внимания, заботы, чуткости... Он предъявляет бесконечный счет к окружающим, по которому невозможно сполна расплатиться. Стоит уступить одному его требованию, как немедленно появляются другие. Стоит посочувствовать раз, как сочувствие поведет за собой поблажку, а поблажка — прощение, а прощение — оправдание поступков, далеко не всегда безобидных и безопасных. И не замечаем тогда мы, как сами попадаем в должники, как не можем погасить векселя здорового, процветающего потребительства. Проценты их растут, а вместе с ними и наша зависимость.

Разоряются «должники», но вместе с ними (вопреки всем законам экономики) и их кредиторы. Привычка жить за чужой счет парализует волю, снижает ее сопротивляемость.

Оставьте такого одного в барокамере, куда не проникнут наши уступки и снисходительное — бог с ним, пусть живет, как хочет! — он закричит: «Помогите!» — и погибнет, если не услышит ответ. Клетки его души подменены посторонней душевностью, способность к развитию и обновлению парализована искусственным «подкормом», «орошением» чужими слезами.

Кто станет отрицать необходимость участия и заботы о ближнем?

Кто назовет руку помощи предательской рукой?

Но если всегда опираться на чужое плечо, то в конце концов можно потерять равновесие и упасть.

Этот торг, который часто такой потребитель ведет с жизнью за свои неприятности, неудачи, провалы и потери, разматывает его силы, пускает по ветру тот золотой фонд личности, который обеспечивает ее неприкосновенность во время действительных кризисов и душевных инфляций. Пустив его в оборот, человек теряет иммунитет к вирусу злобности, разрушается им и становится хроническим неудачником.

Самое обидное, что высчитывают они не только чужое внимание, но и свое. Сделав добро, беспокоятся, как бы их не обделили добром.

«Я тебя тогда поздравил, а ты меня — нет... Я тебе тогда сделал, а ты мне — недоделал... Я тебя так любил, а что за это получил...»

В таких случаях начинается скрупулезный подсчет душевных вносов. Крупицы человечности продаются на вес и поштучно, в кулечках и на стакан. Отоварился — плати. Не оставляй в убытке, не дай проиграть на бескорыстии. Страшная это вещь — «учет душевных одолжений», проценты, взимаемые за моральные услуги, когда накапливают благодарности, ведут счет обратным поступлениям.

Если мы помогаем другу — уроки ли учить, приемник собирать, на коньках кататься, от врагов защищаться, — то обогащает не благодарность (ее можно принять, но не требовать), а сама душевная твоя щедрость. Не ответная любовь (что приятно и радостно), а все-таки сама способность любить. Не обещание «я тебя отблагодарю», а умение самому быть благодарным.

* * *

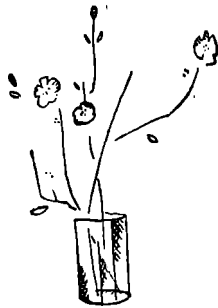
...Эрик Шаталов ничего не требовал, он хотел успеть дать. Он сам привил себе вакцину высокой нравственности и доказал ее спасительную силу. Именно потому он имел право думать о нравственном совершенстве других. О том, как важно сделать эту прививку вовремя, чтобы нейтрализовать в подрастающем человеке потенцию зла и активизировать добро, направить дремлющие, таящие в себе разные возможности силы в позитивное русло.

Он мечтал, что, если бы встал, если бы только свершилось такое чудо, он бы... Нет, не полетел в космос, не отправился на край света, не стал писателем, кинозвездой, физиком-атомщиком, бегуном на самую длинную дистанцию... Нет, если бы он встал, он пошел бы в... педагоги. Занялся бы самой тихой профессией. Чтобы помогать людям находить себя.

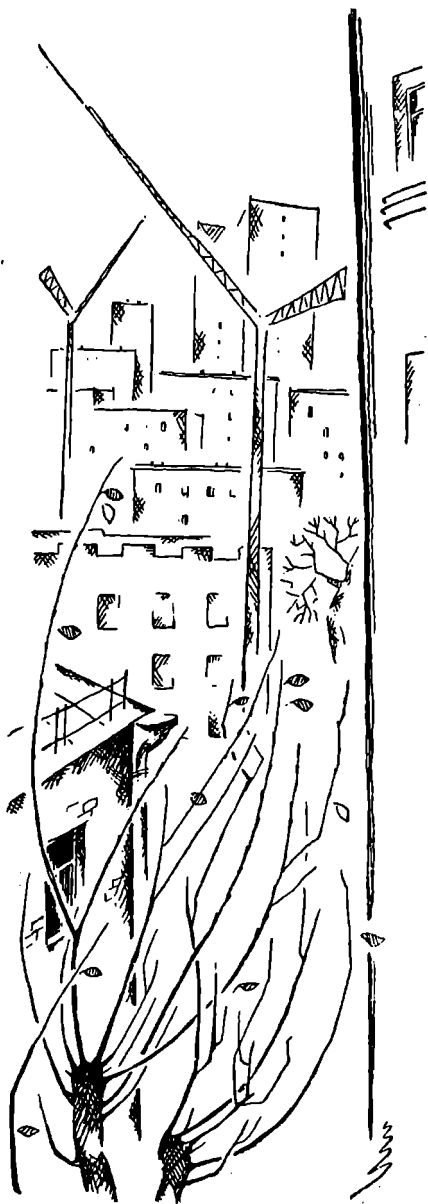
Учить их видеть мир не чужими, а своими глазами, но сначала вооружить эти глаза зрением. А для этого, думал он, нужно «великое множество людей с педагогическим чутьем, с интуицией, с блеском, с озорством, с даром лепить из сырого материала *личность*».

Он жалел не о том, что умирает, а о том, что в нем «умирает» педагог.

И все-таки ученики у него есть. Вершителем своей судьбы он стал.



ЧАСТИЦЫ ВСЕЛЕННОЙ?



Стихотворение начиналось грустно — про то, как заасфальтировали корни прекрасной липы и «стала липа городской...». Кажется, самый момент пролить слезы, согласно моде, обрушить на город очередной набор проклятий и... поехать на природу.

Но не спешите. Это ведь только начало стихотворения. У него есть продолжение. Да, город. Да, асфальт и еще многое другое, куда более современное, технически совершенное, на конвейер запущенное. Все так. «А липа все ж осталась липой: тянула соки из земли, слегка раскачивалась либо спала в безветрии, в пыли».

«А липа все ж осталась липой...»

Вы, кажется, не согласны? Вы хотите сказать, что не стоит цепляться за «неповторимость», за эти набившие оскомину «соки», когда современная жизнь планирует не только зеленые насаждения, но и способы их использования. Придумает искусственные корни, если перестанут кормить вековые, естественные. Что ваша липа, убеждаете вы меня, как несмышлениша, по сравнению с агонией солнца, которое не будет «светить до дней последних донца», а будет просто работать, снабжать нас энергией? Эта распрекрасная липа послушно вытянулась в ряд с другими зеленокронными вдоль заасфальтированных дорог, по которым мчится наш всемогущий и могучий двадцатый век. И мы — всего лишь его «элементарные частицы». И это не беда наша, а великое счастье — быть необходимыми деталями машины времени, которая все знает, все понимает, ограждает от ошибок, от всего лишнего и случайного. Она запрограммирует наши успехи, наши вклады в жизнь общества. Предупредит об опасностях, укажет противников, научит бороться, а скорее всего, даже избавит от необходимости какой-либо борьбы...

«Быть или не быть?» — это не вопрос века.

«Принадлежать? Или не принадлежать?» — к той теме, которая назрела, к той диссертации, которая завершит коллективный опыт, к тому кругу, в котором мы живем. И тот, кто трепыхается, кто пытается сохранить это ваше неповторимое «я», кто по-прежнему убежден, что он, человек, венец совершенства природы, окажется жертвой жестоких разочарований...

Пожалейте его!

Не исключено, что все это мне почудилось. Никто ничего подобного не говорил. Нет и не может быть среди вас поборников такой силы, перед которой мы, люди, бессильны. Нет роботов, порожденных человеком и презревших его. Нет технарей, забывших, что не человек для машины, а все-таки машина для человека. А если есть? Ну что там греха таить, ведь породил двадцатый век не только правителей, но и потребителей, не только творящих технику, но и пресмыкающихся перед ней. Одних

раскрепостил. А других закабалил: машина решает, машина думает, машина творит. Что же остается делать нам? Вроде ничего, если человеческий долг заменить технической целесообразностью. Если считать, что эмоции расслабляют, а повышенная чувствительность лишь мешает решению конкретных задач.

Мы живем в эпоху научно-технической революции — небывалой, невиданной. Кажется, уже нет ничего невозможного, неподвластного ее победам. Но вот беда: не все, что хорошо для машины, хорошо для человека. И тот же Норберт Винер, первый посягнувший на замену человека машиной, предупреждал человечество, что самая новейшая техника не разрешит проблем нравственности, а только поставит их еще острее... Значит, человеку, а не машине всегда будет принадлежать главное — выбор между добром и злом.

Конечно, можно замкнуть себя в отведенной для каждого профессиональной ячейке, не читать отвлекающие деловое внимание книги, не слушать «парализующую волю» музыку. Такая жизнь, не исключено, обеспечит в конце концов полное равнодушие ко всему, что вне твоего рабочего места, твоей семьи, дозволенных путешествий, необременительных друзей.

Некогда, некогда — все рассчитано, выверено, вымерено. И тогда на смену беспокойству, без которого нет духовного развития личности, придет самодовольство, которое грозит духовной дикостью. Вот тогда и правда надо будет отказаться от понятий добра и красоты, от стремления к гармоническому совершенству человека. Не побоимся и пойдем дальше: тогда и жизнь человеческая не будет иметь никакой цены.

Тогда все возможно — стоит только на одну секунду потерять нравственный контроль над этой «железной» силой века, о которой говорят его «железные представители».

Но гарантия все-таки есть. Она в нашем с вами человеческом достоинстве. Именно достоинство не позволяет бессмысленных жертв. Единственная жертва, которую оно допускает, — это жертва самим собой. Своей жизнью. И никогда — чужой.

В повести Владимира Тендрякова «Суд» председатель колхо-

за хочет освободить нужного (как он полагал) людям человека от подозрения в нечаянном убийстве. И, во спасение нужного, готов пожертвовать никому (в чем он уверен) не нужным стариком: «Ради общей пользы уж ежели я себя не пожалею, то и тебя навряд ли...» И тогда старик ответил председателю: «Себя можешь, а меня спроси сперва — хочу ли?»

Техника дала нам чудеса. Просветила ценности окружающего мира. Но «просветила» ли техника наше внутреннее зрение?

Много ли она добавила, чтобы каждый человек наконец понял, что в нем — прекрасное, а что — мерзкое? А поняв, научился управлять не только своей памятью (что с радостью отдадим машине), но и своей нравственностью, что никакая машина моделировать не может.

За свою историю человечество накопило немалые ценности. И вопрос в том, как их умножить. Как в этом потоке конвейеров, в водопадах информации, в жерновах кибернетических машин, в этой лавине индустрии культуры, мыслей, чувств сохранить и развить лучшее, что есть в человеке.

...Если представить себе, что очень скоро машина действительно заменит наше внимание, логику, память, что не «за горами» небесные тела, способные дать нам невиданные источники сырья... Что мы стоим на пороге самого дерзкого открытия человеческого разума — возможности управлять наследственностью... Когда все это, зажмурившись, затаив дыхание, пытаешься себе представить, теряешься, чувствуешь себя беспомощным — вроде бы и правда всего лишь маленькой частичей, не способной управлять бурным потоком.

«Где тот голос,— спрашивает нас, современников, французский поэт Поль Валери,— который сможет пробиться через грохот взрывов, шум машин, пропагандистскую трескотню?.. Создается впечатление, что все усилия мысли, весь неслыханный рост наших знаний направлены на то, чтобы убить в человеке многовековую надежду на смягчение его собственной природы... Долго ли мы будем мириться с тем, что жестокость, вар-

варство, злость и холодный расчет никогда не смогут считаться уничтоженными и окончательно стертыми с лица земли? Где тот... чей голос поднимется сегодня?»

Поль Валери был поэт, он имел право испугаться, растеряться, потому что растерялось общество, в котором он жил. Пережив войну, он имел право крикнуть в будущее о своем страхе, о боли за людей, которые не смогли остановить всемирную беду, потеряли нравственный контроль над веком. Он спрашивал, кто скажет это слово, и сам не понимал, что уже сказал его. Но есть вопросы, на которые обязаны ответить потомки.

И вот сегодня отвечает поэту поэт:

Мой голос,
Этот вот,
Велик он или мал,
Я, не боясь невзгод,
Упорно поднимал;
Его я возвышал —
О нет, я не молчал, —
И пусть он не решал,
Но все же он звучал,
Поддержан, заглушен,
То тайный, то прямой,
Он мой,
Он мой,
Он мой!

Леонид Маргынов

СОДЕРЖАНИЕ

МИРНОЕ ВРЕМЯ	3
КОРОЛЬ КАК КОРОЛЬ	12
ЕСТЬ МУШКЕТЕРЫ...	20
УЧЕНИКИ ЭЙНШТЕЙНА	28
БЕЗ ЧЕРНОВИКОВ	37
ВАШЕ МЕСТО... СВОБОДНО	54
«ЦЫГАНКА» МАНЯ	64
ЧЕСТЬ МУНДИРА	70
РЫЦАРЬ ПЕЧАЛЬНОГО ОПЫТА	79
ЧАСТИЦЫ ВСЕЛЕННОЙ?	89

Для старшего возраста

Гербер Алла Ефремовна

ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ

Ответственный редактор *Э. П. Михолин*.
Художественный редактор *Т. М. Токарева*.
Технический редактор *Е. М. Захарова*.
Корректор *Е. Б. Кайрукшис*.

Сдано в набор 31/1 1972 г. Подписано к печати 21/VIII 1972 г. Формат 60×84^{1/16}. Печ. л. 6. Усл. печ. л. 5,6. (Уч.-изд. л. 4,7). Тираж 75 000 экз. А03346. ТП 1972 № 365. Цена 29 коп. на бум. № 1. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, Москва, Сущевский вал, 49. Заказ 3710.

Гербер А. Е.

Г 37 Еще ничего не случилось. Рис. Е. Кольцовой.
М., «Дет. лит.», 1972.

94 с., с ил., 75 000 экз., 29 к., в пер.

«Еще ничего не случилось» — публицистическая книга журналистки Аллы Гербер. Главная тема книги — достоинство, моральный облик советского человека. Герои книги — наши современники: взрослые, подростки, дети.

7—6—3

365—72

1

Цена 29 коп.

